

1 Р. 50 К.

# ПУШКИН

СБОРНИК ВТОРОЙ

РЕДАКЦИЯ  
Н. К. ПИКСАНОВА



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

1

9

3

0



ПУШКИНСКАЯ КОМИССИЯ  
ОБЩЕСТВА ЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ

---

# ПУШКИН

СБОРНИК ВТОРОЙ

Редакция Н. К. ПИКСАНОВА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
МОСКВА 1930 ЛЕНИНГРАД

О Т П Е Ч А Т А Н О  
в 1-й Образцовой типографии  
ГИЗа. Москва, Валовая, 28.  
Главлит № А-24585. Гиз № 22315.  
Заказ № 1393. Тираж 3000 экз.  
13<sup>1</sup>/<sub>4</sub> п. л.

## СОДЕРЖАНИЕ

---

	<i>Стр.</i>
От редактора	
Акад. П. Н. Сакулин. Классовое самоопределение Пушкина . . .	1
И. Н. Кубиков. Социологический смысл повести «Дубровский». . . . .	79
Акад. М. Н. Розанов. Об источниках стихотворения Пушкина «Из Пиндемонте» . . . . .	111
Н. К. Гудзий. К истории сюжета романса о бедном рыцаре . . .	143
Н. Н. Фатов. Дефинитивный текст стихотворения «19 Октября» (1825 г.). . . . .	159
Н. Ф. Бельчиков. Новое о Пушкине («Деревня») . . . . .	189
Н. П. Кашин. О стихотворении «С Гомером долго ты беседовал один» . . . . .	201

---



## ОТ РЕДАКТОРА





Предлагаемая книга является вторым сборником работ Пушкинской комиссии Общества любителей российской словесности. Напечатанные здесь статьи были заслушаны и обсуждены как доклады в заседаниях Пушкинской комиссии.

Во втором сборнике читатели найдут исследования по литературной истории произведений Пушкина (статьи М. Н. Розанова и Н. К. Гудзия), по изучению автографов Пушкина (статьи Н. Н. Фатова и Н. П. Кашина), найдут новые тексты Пушкина (статья Н. Ф. Бельчикова). Всеми этими работами наш второй сборник примыкает к первому и является отображением разнообразных текстологических, историко-литературных и других работ Пушкинской комиссии.

Но первые две статьи второго сборника осуществляют собою новое задание. В 1925 году, по докладу председателя, единодушно поддержанному всеми членами, Пушкинская комиссия поставила своей задачей: не отменяя других видов своей работы, на первую очередь выдвинуть социологические анализы жизни и творчества Пушкина и его среды. По этому заданию выполняются с тех пор многие доклады в Пушкинской комиссии. Из них только два пока печатаются в нашем сборнике.

Придавая социологической проблематике пушкинизма первостепенное значение, Пушкинская комиссия надеется вынести в печать и другие аналогичные доклады, заслушанные и обсужденные в ней.

В силу разных обстоятельств появление в свет второго сборника сильно замедлилось. Большая часть статей была уже в портфеле редактора около трех лет тому назад. Так, статья П. Н. Сакулина была передана в сборник еще в июне 1926 г. Доклад И. Н. Кубикова был сделан также в 1926 г. Впрочем, замедление с комплектованием второго сборника позволило включить в него как статьи М. Н. Розанова и Н. К. Гудзия, так и публикации Н. Н. Фатова и Н. Ф. Бельчикова по вновь найденным автографам Пушкина.

Небольшой объем, предоставленный второму сборнику, вынудил редакцию изъять из него статью Н. К. Пиксанова «Социологические проблемы пушкиноведения», а также — хронику Пушкинской комиссии и продолжить описание пушкинских автографов Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина.

За напечатание двух своих сборников Пушкинская комиссия признательна Государственному издательству.

Председатель Пушкинской комиссии  
Н. Пиксанов.



*П. Н. Сакулин*

**КЛАССОВОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ  
ПУШКИНА**



Вопрос о классовом самоопределении писателя составляет часть общего вопроса о социологическом истолковании его творчества. В распоряжении исследователя имеются, конечно, объективные данные, которые он находит прежде всего в художественных произведениях писателя и далее в конкретных фактах его биографии. Подобные данные позволяют с большой точностью прикреплять изучаемого автора к той или другой социальной среде и определять, следовательно, его классовую психологию. Тем не менее несомненную важность для этой работы представляет также момент субъективный, каким является акт самоопределения писателя. В сущности это — тоже один из конкретных фактов его биографии, биографии внутренней, в которой раскрываются психология и идеология писателя. Конечно, за нами остается право согласиться или не согласиться с поэтом, но

<sup>1</sup> Текст настоящей статьи был передан мною редактору сборника еще в июне 1926 года. 21 октября того же года статья читалась мною в качестве доклада в Пушкинской комиссии О. А. Р. С. Оказалось, что на ту же самую тему работал Д. Д. Благой, который уже успел издать интересную брошюру под заглавием «Классовое самосознание Пушкина. Введение в социологию творчества Пушкина» (М., 1927 г.). Раньше нас обоих к классовой проблеме в самосознании Пушкина и его современников подходили В. А. Львов-Рогачевский и Г. Е. Горбачев: первый в книге «Введение в изучение литературы дореформенной России» (1925; см. особенно стр. 87—92); второй — в книге «Капитализм и русская литература» (1925; см. особенно стр. 17—25). Свой текст я оставляю в редакции 1926 года.

П. С.

Август 1928 г.

мы должны выслушать его — будет ли то его поэтическая исповедь или отвлеченное рассуждение. Вооруженный другими, «объективными» материалами, исследователь может с успехом использовать субъективные высказывания писателя в интересах своей конечной цели — понять творчество писателя как историко-социальное явление.

По отношению к Пушкину эта задача кажется особенно благодарной. Гениальный поэт дворянского класса, Пушкин был преемником и глубоким мыслителем в вопросах исторических и социальных. С редкой настойчивостью стремился он осознать свою классовую ситуацию. В ранние годы это выражалось преимущественно в форме классового самочувствия, а в зрелые годы — в форме классового самосознания, продуманного самоопределения. 14-е декабря 1825 г. провело глубокую борозду в психологии поэта. Переживания, непосредственно предшествовавшие этому событию и сопровождавшие его финал, сильно потрясли Пушкина и заставили его многое переосмыслить заново. Знаменитая записка о народном воспитании (1826), как пограничный столб, стоит на рубеже двух периодов идеологического развития Пушкина.

## II

Из старой Москвы, из культурной дворянской семьи мальчик Пушкин попадает в Царскосельский лицей, в привилегированное заведение, в которое, по уставу, принимались «отличнейшие воспитанники дворянского происхождения» (в проекте говорилось даже о воспитанниках «знатных фамилий», «особенно предназначенных к важным частям службы государственной»). Лицей находился в непосредственном ведении министра народного просвещения и под покровительством государя. Первый, пушкинский прием состоял из тридцати воспитанников. Из них пятеро носили титулованные фамилии (барона, графа, князя). Не-

сколько юношей (человек шесть),— говорит историк лицея, Дм. Кобеко,— происходили «из старинных, существовавших еще в московской Руси, фамилий», в том числе и Пушкин; «остальные же принадлежали к разряду служилых людей, приобретших дворянство в порядке служебном»; двое (Малиновский и Мартынов) были приняты как «сыновья начальствовавших в лицее лиц».

Лицейсты росли вблизи двора и гвардии, среди монументальных памятников, говоривших о «златых временах» пышного царствования Екатерины II, об историческом прошлом именитого дворянства. Впечатления от Отечественной войны с ее парадными лозунгами естественно сливались с тем, что история и устная традиция передавали о военной доблести «екатерининских орлов». Все эти впечатления тревожили юного Пушкина. Он сознавал себя частью избранного круга людей, привилегированного меньшинства, от которого, казалось, зависели судьбы всей страны. Ведь и ему самому предназначалось место в одной из «важных частей службы государственной».

Подобные настроения отразились в лицейских стихотворениях Пушкина, хотя бы в той оде «Воспоминания в Царском Селе», которая читалась на экзамене 1815 г., или в оде того же года «На возвращение государя императора из Парижа». Царское Село настраивало на возвышенно-исторический лад и сближало с вычурной культурой XVIII века. Много лет спустя (в 1829 г.) с чисто юношеским пафосом поэт будет вспоминать «вечные следы» славного прошлого:

Еще исполнены великою женою,  
Ее любимые сады  
Стоят населены чертогами, столами,  
Гробницами друзей, кумирами богов,  
И славой мраморной, и медными хвалами  
Екатерининных орлов.

В юном самочувствии Пушкина выделяются две черты.

Во-первых. Громкие подвиги исторических деятелей он ценит как средство, обеспечивающее народам свободу и культурный мир. Александр победил «пирана» Наполеона, и принес «спасение и благопорный мир земле». Юноша-поэт мечтает («На возвращение государя императора»):

И придут времена спокойствия златые,  
Покроет шлемы ржа, и стрелы каленые,  
В колчанах скрытые, забудут свой полет;  
Счастливы селянин, не зная бурных бед,  
По нивам повлечет плуг, миром изощренный;  
Суда летучие, торговлей окрылены,  
Кормами рассекут свободный океан.

И впредь поэт не перестанет лелеять «вольнлюбивые мечты» и ждать того времени, когда народы, «распри забыв, в единую семью соединятся».

Во-вторых. Лицеиста Пушкина не всецело прельщает жизнь двора и высшей знати. Конечно, лишь впоследствии Пушкин вполне оценит «порочный двор царей». Но и теперь юноша инстинктивно сторонится знатных вельмож и не стремится попасть в их блестящее окружение. Размышляя о судьбе, ожидающей его однокурников, Пушкин предвидит, как иной, «рожденный быть вельможей, не честь, а почести любя, у плута знатного в прихожей покорным плутом зрит себя». Эти люди наиболее достойны презрения, и Пушкин уже нашел для их определения выразительную формулу: «не честь, а почести любя» («Товарищам» перед выпуском, 1817). Поэт, только что встретивший свою восемнадцатую весну, знает, что он пойдет по другой дороге, чем, напр., князь Горчаков. Пожалуй, кое в чем нельзя не позавидовать сиятельному товарищу. Ему, баловню «фортуны своенравной», предстоит «путь и счастливый и славный»; светский успех обеспечен умному и симпатичному красавцу, и амур, без сомненья, будет к нему благосклонен. Другой удел ожидает нашего поэта. Он настроен элегически. Его стезя — «печальна и темна». На жизненном пиру он может



остаться одиноким и угрюмым гостем, среди толпы затерянным певцом. Но унынья нет в молодой душе. «И в жизни сей мне будет в утешенье мой скромный дар и счастье друзей», — мудро заканчивает Пушкин свое послание к Горчакову (1816). С аристократом Горчаковым Пушкин был в добрых отношениях, но его ближайшими друзьями оставались Пущин, Дельвиг и Кюхельбекер, а вне лица — несколько гусаров, среди которых был не только Каверин, но и Чаадаев, который воспламенял в нем «к высокому любовь». Дороже всех соблазнов света песный круг друзей. Перед их нравственным судом склонялся Пушкин а не перед судом знати. «Что нужды было мне в торжественном суде холопа знатного, невежды при звезде?» — говорит поэт в послании к Чаадаеву (1821). Еще в лице Пушкин осознал, что его призвание быть поэтом. В послании к Юдину (1815) с полным правом он мог сказать, что «с улыбкой сожаленья» смотрит «на пышность бедных богачей»; довольный «скромною судьбою» певца, он не чувствует нужды в горах серебра:

К чему певцам  
Алмазы, яхонты, топазы,  
Порфирные, пустые вазы,  
Драгие куклы по углам?  
К чему им сукна Альбиона  
И пышные чехлы Лиона  
На модных креслах и столах?  
Какая нужда в зеркалах,  
И ложе шалевое в спальней?  
Не лучше ли в деревне дальней  
Или в смиренном городке  
Вдали столиц, забот и грома  
Укрыться в мирном уголке,  
С которым роскошь не знакома,  
Где можно в праздник отдохнуть!

Воображение поэта превращает Царское Село в такой «смиранный городок». Стихотворение «Городок» (1814), как и некоторые другие, сходные с ним по мотивам, явно выдают свое «литературное» происхождение: в них больше

игры поэтической фантазии, чем действительности<sup>1</sup>. Но несомненной «действительностью» являются вкусы и симпатии молодого поэта, которому хотелось бы жить в уютном, но простом домике, в стороне от «модного света», в обществе любимых книг, а в досужный часок поболтать с «добренькой старушкой» или с «добрым соседом» семидесяти лет, майором в отставке. Не любил он только попов да подъячих.

Пушкину «страшен свет». «Прочь от городов», призывает поэт в стихотворении «Сон» (1816): «Спешите же под сельский мирный кров», который обещает столько простых радостей. Размечтавшийся юноша тут же любовно вспоминает о мамушке своей, о прелести таинственных ночей, когда няня шопотом рассказывала ему о мертвецах, о подвигах Бовы, о Полкане и Добрыне. В лице «видится» Пушкину подмосковная деревня Захарово, манит к себе несложная жизнь средней руки помещика: легкий труд, чтение и сельские развлечения (послание к Юдину). Конечно, всё это — «привиденья», которые, «родясь в волшебном фонаре, на белом полотне мелькают», но привиденья, характерные для классового самочувствия молодого Пушкина. Как впоследствии Татьяна Ларина, он готов всю мишуру «высшего света», «всю эту ветшь-маскарада» отдать за полку книг, за дикий сад и за бедное жилище в деревенской глуши.

Вот где ищет истинного счастья сердце лицеиста. Помещицья усадьба, деревня сулят ему идиллическое уединение и творческий покой.

### III

Окончив лицей (в 1817 г.), Пушкин, действительно, пошел не горчаковской дорогой. Правда, и он служил по Министерству иностранных дел. Но «важные части службы

<sup>1</sup> 27 марта 1816 г. в письме к Вяземскому сам Пушкин иронизирует над «философами и поэтами, которые притворяются, будто бы живали в деревнях и влюблены в безмолвие и тишину».

государственной» слишком мало интересовали его. Служба для него — постылая необходимость. Государственного мужа и вельможи из Пушкина не вышло и не могло выйти. Его служебная карьера от начала до конца была чем-то жалким.

Высший свет, повидимому, был безразличен для молодого человека, жадно искавшего наслаждений. Он посещал великосветские дома. Пушкин сердился, видя, как в театре его друг вертится у оркестра около Орлова, Чернышева, Киселева и других. Но эта общественная среда не была для Пушкина родной стихией. В генерале Орлове он ценил «любезность, разум просвещенный», которые сочетались в нем «с душою пылкой, откровенной»; Орлов — «у прона верный гражданин». А генерал Киселев — человек «придворный», и потому ненадежный («на генерала Киселева не положу своих надежд» — см. послание Орлову 1819 г.). В послании также 1819 г. к лицейскому поварищу, кн. А. М. Горчакову, Пушкин отчепливо охарактеризовал свою позицию, на этот раз вне влияния каких-либо литературных образцов. Горчаков — «питомец мод, большого света друг». Более того, он — кровный сын этой среды. А Пушкин здесь лишь временный гость. И он «в неопытные лета, опасною прельщенный суею», тянулся к аристократам, «но угодел в чадугу большого света» и предпочел замкнуться в «мирный круг» близких ему людей.

И, признаюсь, мне во сто крат милее  
Младых повес счастливая семья,  
Где ум кипит, где в мыслях волея,  
Где спорю вслух, где чувствую сильнее,  
И где мы все прекрасного друзья,—  
Чем вялое, бездушное собранье,  
Где ум хранит невольное молчанье,  
Где холодом сердца поражены,  
Где Бутурлин — невежда законодатель,  
Где Шепшинг — царь, а скука — председатель,  
Где глупостью единой все равны.

Мотив еще в стиле лицейских стихов.

Другого, также «счастливого сына пиров», Всеволожского Пушкин убеждает из Петербурга, из «мертвой области рабов, капральства, прихотей и мод» приехать в «мирную Москву». Москва — «премилая старушка». И здесь, конечно, «на шумных вечерах» можно видеть «важное безделье, жеманство в понких кружевах, и глупость в золотых очках, и тучной знатности похмелье, и скуку с картами в руках». Но поэт надеется, что его друг оставит «круг большого света» и жить решится для себя («Всеволожскому», 1819).

Сам Пушкин охотно променяет «порочный двор царей, роскошные пиры, забавы, заблуждения на мирный шум дубрав, на пищу полей, на праздность вольную, подругу размышления». В деревне, «от суетных оков освобожденный», он учится «в истине блаженство находить» («Деревня», 1819). Он — писатель прежде всего. А творческие думы зреют лишь в «душевной глубине» и нуждаются в иных условиях, чем шумная жизнь большого света. И Орлову Пушкин обещает забыть «свои гусарские мечты» и сокрыться «с тайною свободной, с цевницей, негой и природой под сенью дедовских лесов».

Живя на юге, Пушкин легко отвык от сполчиных пиров, «где праздный ум блескает, тогда как сердце дремлет, и правду пылкую приличий хлад объемлет». И тут, — как рассказывает он Чаадаеву (в послании 1821 г.), — он ухитряется найти уединение, в котором его «своенравный гений познал и тихий пруд и жажду размышлений».

Это один ряд фактов. Но есть и другой.

После 1817 г., в течение нескольких лет, Пушкин — во власти центробежных сил. Кажется, что они готовы оторвать его от родной классовой среды. Его охватила либеральная атмосфера эпохи декабризма. Он пишет вольные, по тогдашнему даже революционные, стихи, с портретом Лувеля ходит в театр; в деревне его, как «друга человечества», гнетет «мысль ужасная» о крепостном рабстве, о произволе «барства дикого», и он призывает «прекрасную зарю» «свободы просвещенной». Поэт восстал против дворянско-бюрократического уклада жизни. Готов

порвать с самыми основами классового мировоззрения. Идеиную дружбу водит Пушкин с Чаадаевым и декабристами, от Пущина и Рылеева до Пестеля. Легко поддается он байроническим настроениям, и вместе с своим Кавказским пленником лепит в далекие края «с веселым призраком свободы». Бросив опасного поэта в ссылку, правительство тем самым толкало его в стан своих врагов. Связь с коренной средой ослабевала, и поэт попадал в иной круг влияний. «Беззаконной кометой» вычерчивал Пушкин капризную траекторию своей жизни.

Повидимому, все условия складывались так, чтобы создать в Пушкине психологию отщепенства. Но этого не произошло. Последняя ссылка (в с. Михайловское) насильственно прикрепила его, «перекаати-поле», к земле; к русской почве. Оказалось, что ссылка шла навстречу его собственным устремлениям. Баллон-каптитф (ballon-caritif) может высоко реять над землей, но он — на привязи, на крепком канате. Психология Пушкина, как бы его молодая мысль ни была революционизирована, крепкими нитями соединялась с определенной общественной средой. Мы слышали, какая! стихийная тяга к деревне, к усадьбе, так сказать, нога усадебности, звучала в стихах Пушкина лицейского и послелицейского периода. Чувствуется, что грунтовой слой его психологии — психология усадебного помещика, не городского, не столичного дворянина, а именно усадебного. Самое движение декабристов, поскольку Пушкин был втянут в него, не смывало «грунтового слоя» его психики: теперь уже достаточно раскрыты классово-дворянские корни декабризма, при всем, конечно, идеологическом значении этого явления.

Ход событий 14 декабря дал Пушкину значительный материал для серьезных размышлений. Он подошел к их оценке, как вдумчивый историк, о чем свидетельствует уже записка «О народном воспитании» (1826).

Если лицей всей своей обстановкой мог питать в Пушкине историческое чувство, то события, пережитые

им самим, пипали его историческую мысль. Пушкин вступил в период классового самоопределения, твердого оформления тех элементов его идеологии, которые давно уже бродили в его сознании.

В другом месте (в книжке «Пушкин и Радищев») мне пришлось довольно подробно характеризовать историзм пушкинской мысли. Напомню лишь главное. Роковая ошибка декабристов, по мнению Пушкина, состояла в том, что вследствие недостаточности своего образования и особенно вследствие поверхностного знакомства с историей, они увлеклись «чужеземным идеологизмом», не поняли особенностей русской истории и вообще легкомысленно отнесли к законам политической жизни. Исторически мыслящий человек поймет «разницу духа народов, источника нужда и требований государственных», поймет, что «необъятная сила» русского правительства основана «на силе вещей», и не станет перенимать у других народов «политических изменений», которые вызывались там «силою обстоятельств и долговременным приготовлением». Во имя того же историзма осуждает Пушкин и автора «Путешествия из Петербурга в Москву». Радищев мыслил и действовал как типичный сын рационалистического и антиисторического XVIII в. И у него нашел Пушкин «невежественное презрение ко всему прошедшему, слабоумное изумление перед своим веком, слепое пристрастие к новизне». Всякая революция есть в глазах Пушкина бунт против законов истории. Сам он мыслит категориями исторической эволюции. В своем историзме Пушкин не был одинок: он выражал здесь характерную тенденцию своего века, получившего вместе с романтизмом идеи историзма и народности. Семена этих идей упали на добрую почву, какой была психология помещичьего дворянства.

Истинное просвещение, — не перестает повторять Пушкин, — требует уважения к своему прошлому, к истории своего народа. «Дикость, подлость и невежество не уважают прошедшего, пресмыкаясь перед одним настоящим», — говорит Пушкин в неоконченном «Романе в письмах»

(1829—1830). И герой этого романа грустно замечает: «Прошедшее для нас не существует. Жалкий народ!» В набросках 1831—1832 гг. «Госпи съезжались на дачу» та же мысль повторена почти буквально: «Прошедшее для нас не существует... Заметьте, что неуважение к предкам есть первый признак дикости и безнравственности». Как ни высоко ценил Пушкин ум Чаадаева, своего идейного учителя, он не мог оставить без возражений философического письма (1836), где Чаадаев дал полную волю своему скептицизму по отношению к русской истории. В обширном письме на французском языке (Переписка, III, 387—389) Пушкин горячо отстаивает внутренний смысл и огромную значительность русской истории. Он и сам видит ее недостатки, но решительно заявляет: «честью клянусь, что ни за что на свете не хотел бы я переменить отечества или иметь другую историю, чем история наших предков, какой ее дал нам бог».

Нет, Пушкин любит свою историю, какова бы она ни была. А значит, не отрекается и от истории своего класса и даже своего рода. Дворянство и Пушкины в частности делали историю. В этом их право на признание и уважение со стороны потомства.

Корнями своей психоидеологии ушел Пушкин в историческую почву. Он — не отщепенец своего класса, а глубоко почвенный писатель. Почвенность и усадебность — вот первые черты, характеризующие его социальную ситуацию.

#### IV

Еще в замечаниях 1822 г. Пушкин коснулся исторических судеб дворянства.

«Петр I не страшился народной свободы, неминуемого следствия просвещения», — писал тогда Пушкин. После Петра аристократия неоднократно пыталась ограничить самодержавие; «к счастью, хитрость государей торжествовала над честолюбием вельмож, и образ правления остался неприкосновенным». «Это спасло нас от чудовищного феодализма, и существование народа не отделилось

вечною чертою от существования дворян. Если бы гордые замыслы Долгоруких и проч. совершились, то владельцы душ, сильные своими правами, всеми силами затруднили бы или даже вовсе уничтожили способы освобождения людей крепостного состояния, ограничили бы число дворян и заградили бы для прочих сословий пути к достижению должностей и почестей государственных. Одно только страшное потрясение могло бы уничтожить в России закоренелое рабство; ныне же политическая наша свобода неразлучна с освобождением крестьян, желание лучшего соединяет все состояния пропиву общего зла, и твердое, мирное единодушие может скоро поставит нас наряду с просвещенными народами Европы».

Это говорит друг декабристов и недавний автор «Деревни» (1819), ожидавший, что рабство падет «по манию царя». Дворяне — феодалы, средостение между народом и царем. Хорошо, что им не удалось расширить своих прав.

Памятниками неудачной борьбы аристократии с деспотизмом остались два указа Петра III о вольности дворян, «указы, коими предки наши столько гордились и коих справедливее было бы стыдиться».

В царствование Екатерины II, которое вообще оценивается здесь резко отрицательно, положение дворянства сильно изменилось к худшему. Хотя, судя по предыдущим рассуждениям, в этом еще нет большой беды, и Екатерина как будто продолжала путь политику своих предшественников, но Пушкин патетически ставит императрице в вину то, что «возведенная на престол заговором нескольких мятежников, она обогатила их на счет народа и унизила беспокойное наше дворянство». Не нужно было ни ума, ни талантов, ни заслуг, чтобы попасть в число ее любимцев, которые помогали монархине унижать «дух дворянства». «Стоит напомнить о пощечинах, щедро ими раздаваемых нашим князьям и боярам», и о прочих выходках екатерининских фаворитов. Развратная государыня развратила и свое государство. «От канцлера до последнего пропоколиста всё кралось, и всё было продажно». Около



временщиков наживались также их самые отдаленные родственники. «Отселе произошли сии огромные имения вовсе неизвестных фамилий и совершенное отсутствие чести и честности в высшем классе народа».

В свете этих идей получает свое идеологическое значение эпиграмма «Жалоба», которую относят также к 1822 г., и которая, может быть, направлена против Д. П. Северина:

Ваш дед портной, ваш дядя повар,  
А вы, вы знатный господин:  
Таков об вас народный говор,  
Высокородный Северин.  
Потомку предков благородных,  
Увы, никто в моей родне  
Не шьет мне даром фраков модных  
И не варит обеда мне.

Таковы были мысли Пушкина в 1822 г. Уже теперь нескрываемое презрение к новому дворянству, к выскочкам и вместе с тем отрицание феодальных привязаний старого дворянства. В центре внимания — крепостной народ, освобождение которого есть необходимая ступень к политической свободе страны. Пушкин — против дворян-феодалов во имя свободы народа<sup>1</sup>.

Чтобы надлежащим образом оценить классовую идеологию, которую Пушкин набросал здесь вчерне и которую потом будет внимательно обдумывать, — стоит вспомнить, как решались те же проблемы самым авторитетным декабристом, Пестелем. Ведь Пушкин ставил последнего очень высоко. В кишиневском дневнике, под 9 апр. 1821 г., поэт записал свои впечатления от беседы с ним: «Умный человек во всем смысле этого слова... Мы с ним имели разговор метафизический, нравственный и проч. Он один из самых оригинальных умов, которых я знаю».

<sup>1</sup> Характерно, однако, что в тех же «исторических замечаниях» 1822 г. Пушкин порицает Екатерину за то, что она «явно гнала дуошеенство», влияние которого, особенно на крестьянство, было «благоприятно». Вообще «греческое вероисповедание, отдельное от всех прочих, дает нам особенный национальный характер». Этим, конечно, не определяются вполне религиозные воззрения самого Пушкина.

«Русская правда» Пестеля насчитывает до двенадцати «различных сословий, состояний или классов людей в России». На первом месте стоят: духовенство, дворянство и купечество. Такое положение вещей неминуемо вызывает «борьбу сословий и классов». В «нынешнем столетии» народы борются с «феодалной аристократией»; но возникает «аристократия богатств», «гораздо вреднейшая аристократии феодальной». Пестель боится капитализма, и бичует «исключительную любовь к деньгам», которая «граничит к скупости, а сей порок более всякого другого соделывает человека жестокосердым». Аристократия богатств приводит весь народ «в совершенную от себя зависимость» и умножает число бедных и нищих. Иного результата вообще трудно ждать от сословно-классового неравенства. Существование сословий и классов всего более противоречит интересам «массы народной». Отсюда принципиальный вывод, «что учреждение сословий непременно должно быть уничтожено, что все люди в государстве должны составлять только одно сословие, могущее называться гражданским, и что все граждане в государстве должны иметь одни и те же права и быть перед законом все равны»<sup>1</sup>. Рассмотрев «преимущества», какими пользуется дворянство, Пестель приходит к радикальному заключению, что преимущества эти должны быть уничтожены вместе с самим званием дворянства, а члены оного должны быть расписаны по волостям, как прочие граждане. «Сии мероприятия принадлежат к числу самых важнейших и необходимейших действий для утверждения благоденствия России». В первую очередь должно быть уничтожено «рабство и крепостное состояние». Последнее требование, однако, обставлено характерными оговорками,

<sup>1</sup> Для сопоставления с Пушкиным важно отметить, что духовенство признается «отраслью чиновничества», «частью правительства и частью самую непочтеннейшую»: «священнослужение необходимо для блага всех и духовных и мирян». Отсюда — предписание Верховному правлению озаботиться улучшением материального быта духовенства, особенно в селах.

что «такое важное предприятие требует зрелого об- суждения», должно быть осуществлено постепенно и так, чтобы не лишить дворян дохода, «ими от поместий своих получаемого». Мало того, дворянству предоставляется право участвовать в самом решении вопроса о своем по- ложении: «дворянство обязывается под руководством Вер- ховного правления пересмотреть свой состав и проекты об оном предсавить». Дворянство неожиданно пропиво- поставляется «всем прочим сословиям», которые «слива- ются в общее сословие российских граждан». А в заклю- чение данного раздела читаем еще одно интересное по- спановление: «Люди, оказавшие отечеству большие услуги, должны быть отличены от тех, которые только о себе думали и только о частном своем благе помышляли. Та- ковые лица должны особенными пользоваться правами и преимуществами. Вот главное правило, основанием дво- рянству служащее». Значит, с известными ограничениями, но дворянство сохраняется как группа людей, «оказав- ших отечеству большие услуги». Всё это полезно иметь в виду при оценке взглядов Пушкина на классовую про- блему.

В тридцатых годах, после декабрьских событий, вопрос был подвергнут Пушкиным существенному пересмотру.

«История русского народа» Н. А. Полевого дала Пуш- кину повод заново осветить вопросы государственного и сословно-классового строя России. В претвей статье о Полевом (1830) отрицается существование древне-рус- ского феодализма: «феодализма в России не было, бояр- ство не есть феодализм; феодализм — частность, ари- стократия — общность». В отсутствии феодализма хорошего мало: «феодализма у нас не было — и тем хуже», ибо феодализм был бы первым шагом к независимости, а городские общины, если бы они развились, — вторым.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Анненков усматривает здесь мысль о двух палатах: верхней (па- лата лордов) и нижней (Common-house). «Воспоминания и критические очерки», отдел третий (1881), стр. 238 (статья «Общественные идеалы А. С. Пушкина»).

У нас аристократия существовала в ее общем виде (феодализм — частность этой общности). Аристократия, состоявшая из «малых князей», была наследственной. «Отселе местничество, на которое до сих пор привыкли смотреть самым детским образом», а между тем вопрос: «было ли зло местничество? натурально ли оно?» Уже в древней Руси произошло расслоение дворянства, «и меньшее дворянство уничтожило местничество и боярство». Меньшее дворянство положило начало чиновничеству, бюрократии. «С Феодора и Петра начинается революция в России, которая продолжается и до сего дня...» Вот ее этапы: «Петр. Уничтожение дворянства чинами. Майоратства, уничтоженные мотовством Анны Ивановны<sup>1</sup>. — Падение постепенное дворянства. — Что из этого следует? — Восшествие Екатерины II, 14-е декабря и т. д.».

Программа для целого исторического трактата. Идеологическая мысль Пушкина явно приняла другое направление, чем в двадцатых годах.

Нужно удивляться, с какой исторической обстоятельностью и с какой социологической точностью Пушкин тридцатых годов судит о классовой структуре современного ему общества. Поэт отчетливо видит экономические основы социальной жизни и борьбу классов. Особенную осведомленность обнаруживает он во всем, что касается дворянского класса. В бумагах 1832 г. имеется конспект записки о дворянстве; в ней формулированы главные вопросы и намечены ответы.

Вот в каком виде теперь представлял себе Пушкин историю русского дворянства и его состояние в тридцатых годах.

Пушкин исходит из наличного факта, что население государства состоит из разных классов (сословий), и что каждый из них выполняет свою функцию, имея, следовательно, свой *raison d'être*. Об отрицании классовой структуры, как принципа, не было и речи.

<sup>1</sup> «Русская Правда» Пестеля решительно отвергает систему майоратства.

Потомственное дворянство есть «сословие народа высшее, т. е. награжденное большими преимуществами, касательно собственности и частной свободы». В этом определении четко указаны привилегированное положение дворянства и его экономическая база. Привилегии даны дворянству «народом или его представителями» «с целью иметь мощных защитников (народа) или близких и непосредственных к властям представителей». Дворянство состоит из людей, «которые имеют время заниматься чужими делами», т. е. из людей, «опытных по своему богатству или образу жизни». «Богатство доставляет способ не трудиться, а быть всегда голубу по первому призыву du souverain». И образ жизни дворянина — свободный, не так, как у земледельца и ремесленника. «Земледелец зависит от земли, им обрабатываемой, и более всех неволен»; ремесленник же зависит от спроса на его товар. Пользуясь своей экономической самостоятельностью, дворянство развивает в себе следующие важные качества: «независимость, храбрость, благородство, честь вообще» (курсив Пушкина). Трудовым массам «некогда развивать эти качества», а народу в целом они нужны так же, как трудолюбие, поэтому «дворянство — la sauvegarde трудолюбивого класса». Значит, разделение народа на сословия вытекает из разделения труда: «трудолюбивый класс» (земледельцы и ремесленники) трудится на земле или в мастерской; трудолюбие — его главное достоинство; дворянство выполняет в государстве социально-политические функции высшего порядка, но в интересах всего народа и в частности того же «трудолюбивого класса». Свобода народа — в руках дворянства; вместе с дворянством гибнет и свобода. «Чем кончается (погибает) дворянство... в государстве» (т. е. в монархическом государстве, которое Пушкин тут же противопоставляет республике)? — спрашивает он и дает лаконичный, но выразительный ответ: «Рабством народа». Как видим, в противоположность заметке 1822 г., теперь дворянский феодализм признается наилуч-

шим средством гарантировать свободу народа. Цель — та же самая, но средство — другое. Дворянство — на аванпосах свободы.

Вот почему в другой заметке (1830) Пушкин твердо заявляет: «Каков бы ни был образ моих мыслей, никогда не разделял я с кем бы то ни было демократической ненависти к дворянству. Оно всегда казалось мне необходимым и естественным сословием всякого образованного народа. (Калмыки не имеют ни дворянства, ни истории)». Или еще в «Отрывке из литературных летописей» (1829): «Никто более нашего не уважает истинного, родового дворянства, коего существование столь важно в смысле государственном».

Чтобы быть в состоянии осуществить свою государственную функцию, дворянство, — продолжает рассуждать Пушкин (в заметке 1832 г.), — должно обладать полной независимостью, что возможно лишь при сохранении «наследственных преимуществ высших классов общества». «В противном случае классы эти становятся наемниками и несут их обязанности». Цари хорошо понимали эту истину и сознательно стремились к ограничению независимости дворянского класса. Дело началось с уничтожения местничества, в котором находил себе своеобразное выражение принцип боярской чести. Пушкин с осуждением вспоминает, что один из его предков дал свою подпись под постановлением об уничтожении местничества («Родословная Пушкиных и Ганнибалов» и заметка о дворянстве 1832 г.). Настоящим революционером (разом Робеспьер и Наполеон) выступил Петр I. Его табель о рангах нанесла сильный удар наследственному дворянству. Отсюда начинается поспешное падение дворянства и быстрое развитие чиновничества, бюрократии. («Уничтожение дворянства чинами. Майоратства, уничтоженные плутовством. Падение поспешное дворянства»). В дальнейшем этому способствовали и грамота о вольности дворянской и реформа Александра I, когда законодательствовал Сперанский, этот наглый и невежественный попович

(porovitch turbulent et ignare)<sup>1</sup>, которому, между прочим, Россия обязана указом 1809 г. о гражданских экзаменах, указом «слишком демократическим», по оценке Пушкина (в другой заметке). В результате всей эпохи революции, произведенной постепенно сверху, высшее дворянство фактически перестало быть наследственным, а превратилось только в пожизненное; деспотизм мог поразить свою победу. Унижение дворянства есть средство «окружить деспотизм преданными наемниками и задушить (d'étouffer) всякую оппозицию и всякую независимость». Между дворянством и бюрократией неминуемо должен был возникнуть острый антагонизм. Между тем «устойчивость (stabilité) — первое условие общественного счастья». Вопрос лишь в том, как сочетать эту устойчивость с бесконечным совершенствованием.

Пушкин утешает себя тем, что нынешний император, т. е. Николай I, начал контрреволюцию Петру: «он первый заложил плошину, пока еще очень слабую, против разлива демократии, худшей, чем демократия Америки». В этих словах 1832 г. Пушкин формулировал те ожидания, о которых он писал Вяземскому еще 16 марта 1830 г.: «Государь, уезжая, оставил в Москве проект новой организации, контрреволюции революции Петра... Правительство действует или намерено действовать в смысле европейского просвещения. Ограждение дворянства, подавление чиновничества, новые права мещан и крепостных — вот великие предметы. Как ты? Я думаю пуститься в политическую прозу... Жду концертов и шуму за проект клуба». Ожидаемый проект должен был обрадовать дворянство, и, очевидно, Московский (Английский) клуб должен был бы ликовать. Вместе с тем предполагаемые реформы, по мнению Пушкина, задуманы «в смысле европей-

<sup>1</sup> У Пушкина есть также иные, положительные отзывы о государственной деятельности Сперанского: см. в дневнике под 2 апр. 1834 г. Поучительно образ Сперанского в понимании Пушкина сравнить со Сперанским в романе Толстого «Война и мир».

ского просвещения», т. е., можно думать, в смысле английской системы с ее майорапами. Ожидания, однако, не оправдались: «подавления чиновничества», этого принципиального врага дворянства, не произошло; ультрабюрократическая монархия Николая I крепко держалась за свой административный аппарат; в положении крепостных и дворянства существенных перемен не произошло. Прочие сословия получили в 1832 г. закон о потомственном почетном гражданстве.

22 дек. 1834 г. Пушкин имел разговор с великим князем Михаилом Павловичем о дворянстве и как раз коснулся только что названного постановления. Почетное гражданство присуждалось лицам из купеческого и других сословий. Так, в 1834 г. этим званием были наделены Боткины, Якунчиковы, Меншуткины и др. Обнародование в газетах списка новых потомственных почетных граждан, вероятно, и послужило поводом для разговора Пушкина с Михаилом Павловичем. Разговор записан поэтом в его дневнике. Великий князь высказался против института потомственных почетных граждан по двум мотивам: «зачем преграждать заслугам высшую цель честолюбия? зачем составлять *tiers état*, сию вечную стихию мятежей и оппозиции?» Пушкин возразил по обоим пунктам. Первый аргумент великого князя затрагивал вопрос о наследственности дворянства («высшая цель честолюбия» — получение дворянского звания), и Пушкин говорил, «что или дворянство не нужно в государстве, или должно быть ограждено и недоступно, иначе как по собственной воле государя. Если в дворянство можно будет поступать из других сословий, как из чина в чин, не по исключительной воле государя, а по порядку службы, то вскоре дворянство не будет существовать или (что всё равно) всё будет дворянством»<sup>1</sup>. «Вы — в родню», шужливо заметил Пушкин

<sup>1</sup> В заметке о русской литературе (1834) Пушкин опять отмечает «революционные» меры Петра, которые были предприняты им «по необходимости», но «которые потом не успел он отменить»; «например: дворянство, даруемое порядком службы, мимо верховной власти».



Михаилу Павловичу: «все Романовы — революционеры и уравниатели (niveleurs)». «Спасибо», — опоздался великий князь: «так ты меня жалуешь в якобинцы! благодарю, вот репутация, которой мне не хватало». Пушкин предпочитает сохранить древние права дворянства и не видит вреда в tiers état. Что же касается мятежного духа, какой приписывается tiers état, то старое дворянство, — Пушкин не хочет этого скрывать, — не менее мятежно: «Что же значит наше старинное дворянство с имениями, уничтоженными бесконечными раздроблениями, с просвещением, с ненавистью проптиву аристократии, и со всеми притязаниями на власть и богатство? Эдакой страшной стихии мятежей нет и в Европе. Кто был на площади 14 декабря? Одни дворяне. Сколько же их будет при первом новом возмущении? Не знаю, а кажется много». Замечательный взгляд на классовую психологию родовитого дворянства и декабристов в частности.

Защищая преимущества дворянства, как высшего в государстве класса, Пушкин не отрицает права государей включать новых лиц в состав этого класса. «Достоинство — всегда достоинство, и государственная польза пребудет его возвышения», скажет он в отрывках «Гости съезжались на дачу» (1831—1832). Значит, степени родовитости и древности дворянских фамилий неминуемо будут различны. Возведение в дворянское звание должно бы быть исключительной прерогативой монарха, которой, конечно, он не должен злоупотреблять (как Екатерина II). Но русские цари с давних пор стремятся ослабить родовитое дворянство, сломить его гордость и силу, чтобы опираться на новое, служилое дворянство, или, что то же, на сильную бюрократию. Отсюда — расслоение дворянства, борьба внутри его.

Как вскоре увидим, последнему факту Пушкин придает огромную важность. Но существеннее всего вопрос об общем положении дворянского класса. С сожалением видит Пушкин, что не только «уничтожались» древние дворянские роды, но «уже падают, ничем не огражденные», новые

фамилии, заступившие место прежних (заметка 1830 г. «В одной газете»). «Древние фамилии приходят в нищенство, новые поднимаются и в третьем поколении исчезают опять... Пора положить этому границы» (роман в письмах 1829—1830 гг.). Нужны меры к «ограждению дворянства», взятого во всем его составе.

Едва ли нужно подчеркивать, что изложенная идеология носит чисто дворянскую окраску: теперь поэт уже не боится «чудовищного феодализма». Бюрократия — вот враг старого дворянства. Эта типичная черта будет выступать в психологии и идеологии также автора «Войны и мира».

## V

Пушкин отчетливо сознавал те экономические и социальные условия, которые определяли собою исторические судьбы дворянства. Положение, создавшееся для этого класса, повело к его дифференциации. Рядом с старым, родовитым дворянством возникло новое дворянство, из которого выходили «знать» и бюрократия. На этом моменте Пушкин останавливается много раз, так как это вместе с тем и вопрос его собственного социального бытия.

Возникновение нового дворянства — историческая необходимость. Такой же неизбежностью является и политический упадок многих старых родов. С этим нельзя не примириться. «Понятна мне времен превратность, не прекословлю, право, ей», — говорит Пушкин в «Моей родословной» (1830). Но он не может не прекословить тому, как социально расцениваются топ и другой слои дворянства. Именно в эту сторону направлен идеологический пафос Пушкина.

Родовитое дворянство — творец русской истории и носитель истинной культуры. Родовитость — синоним культурности. Старое дворянство обеднело, ему не приходится уже играть прежней политической роли: оно превратилось в род среднего сословия, *tiers état*, «мещан», откуда выходит и интеллигенция, в частности писатели. Старое

дворянство может гордиться своим прошлым и защищать свое достоинство, свою честь. Нельзя без негодования говорить о тех родовитых дворянах, которые униженно заискивают перед новым дворянством.

Новое дворянство состоит из людей, сравнительно недавно выслужившихся. Принципиально говоря, — это в порядке вещей. Но всё же новое дворянство — большею частью — выскочки, parvenus. Они окружают трон, составляют аристократию, придворную знать. Немного исторических заслуг числится за ними. Прочной культуры у них нет и не может быть. Их отличительная черта — надменная спесь.

Пусть в состав аристократии, наряду с немногими уцелевшими старыми родами, входит также новая знать. Но аристократия вообще должна быть достойна своего положения в государстве, должна держаться на той высоте, на которой стояли знаменитые представители старого дворянства. А те, кто, вследствие превращений судьбы, образуют ныне среднее дворянство, заслуживают всяческого уважения и за историческое прошлое своего рода и за то, что они являются почтенным, просвещенным и трудолюбивым сословием в государстве; т. е., выражаясь новейшим языком, играют роль трудовой интеллигенции.

Вот резюме многочисленных высказываний Пушкина по данному вопросу. Приведу несколько типичных суждений в его собственной формулировке.

«Аристократию нашу составляет дворянство новое, древнее же пришло в упадок; его права уравнены с правами прочих сословий, великие имения давно раздроблены, уничтожены» (заметки о «Борисе Годунове», 1831).

«... Ныне знать нашу большею частью составляют роды новые, получившие существование уже при императорах... Имя дворянина, час-от-часу более униженное, стало наконец в прищучу и в посмеяние даже разночинцам, вышедшим в дворяне, и (праздным) досужим (журнальным) балагурам» (из заметки 1830 г. «В одной газете»).

«Путешествующий испанец» (в отрывке «Гости съезжались на дачу» 1831—1832 гг.) интересуется тем, что такое русская аристократия. По русским законам он видит, что «наследственной аристократии, основанной на неделимости имений», в России не существует, и что доступ к дворянству ничем не ограничен. «На чем же основывается ваша так называемая аристократия? разве только на одной древности родов русских замечательных (людей)?» — спрашивает испанец. Русский собеседник пространно ему объясняет его ошибку; «Древнее русское дворянство, вследствие причин, вами упомянутых, упало в неизвестность и составило род третьего сословия; (благородная) чернь, к которой и я принадлежу, считает между своими родоначальниками Рюрика и Мономаха; но настоящая аристократия наша с трудом может назвать и своего деда. Древность рода их восходит до Петра и Елизаветы. Денщики, певчие, хохлы — вот их родоначальники, будь сказано не в упрек: достоинство — всегда достоинство, и государственная польза требует его возвышения. Смешно только видеть в ничтожных внуках спесь, точно они потомки христианского барона Клермон-Тоннера...» Хотя дворянство собеседника — чрезвычайно древнее, и имена его предков встречаются на всех страницах истории, но он не мог бы назвать себя аристократом без риска насмешить многих. «Мы так положительны», продолжает он, «что мы на коленях пред настоящим случаем, успехом и славою, но у нас нет очарования древностию, благодарности к прошедшему и уважения к нравственному достоинству... Прошедшее для нас не существует. Карамзин недавно рассказал нам нашу историю. Но едва ли мы выслушали его. Мы гордимся не славою предков, но чином какого-нибудь дяди-дурака или балом двоюродной сестры. Заметьте, что неуважение к предкам есть первый признак дикости и безнравственности»<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Цитированный отрывок (беседа русского с испанцем) относится к 1831—1832 гг., а между тем в дневнике Пушкина под 18 дек. 1834 г. есть любопытная запись, которая напрашивается на сравнение с отрывком

В том же духе высказывается Владимир Z\*, герой неоконченного романа в письмах (1829—1830). Автор доверил ему самые дорогие свои мысли. «Небрежение», с каким дворяне относятся к своим обязанностям помещика, покидая имение и крестьян на произвол плута-приказчика, ведет к их постепенному разорению, и, следовательно, к упадку дворянства: «дед был богат, сын нуждается, внук идет помиру». Владимир Z\* согласен с Лабрюером или, вернее, с автором: «Подчеркивать презрение к своему происхождению в выскочке просто смешно, а в дворянине есть подлость (*une lâcheté*). «Я без прискорбья», — продолжает Владимир, — «никогда не мог видеть уничтожения наших исторических родов. Никто у нас ими не дорожит, начиная с тех, которые им принадлежат». Эти слова имеют тем больший вес, что сам Владимир к старинному дворянству не принадлежал: он — «внук бородастого миллионщика». Вслед за автором он убежден, что истинной образованности свойственно уважать историческое прошлое: «Образованный француз или англичанин дорожит строкою старого летописца, в которой упомянуто имя его предка, честного рыцаря, павшего в такой-то битве, или в таком-то году возвратившегося из Палестины: но калмыки не имеют ни дворянства, ни истории. Дикость, подлость и невежество не уважают прошедшего, пресмыкаясь пред одним настоящим, и у нас иной потомок Рюрика более дорожит звездою двоюродного дядюшки, чем историей своего дома, т. е. историей отечества». Владимир Z\* с буквальной точностью повторил здесь то, что находится в заметке Пушкина 1830 г. («В одной газете»).

Итак, те, кого считают аристократией, столичной знатью, высшим светом, в огромном большинстве своем принадлежат к новому дворянству. Типичная для них пси-

«Гости съезжались». 17 дек. на вечере у С. (вероятно, у А. О. Смирновой, догадывается Б. Л. Модзалевский) Пушкин беседовал с секретарем шведско-норвежского посольства Нордингом (Густавом Нордином) о гербах русского дворянства, утверждая, что «гербы наши все весьма новы».

хология была схвачена Пушкиным очень рано. Еще в стихотворениях лицейского периода и непосредственно к ним примыкающих он метко характеризовал столичную аристократию. Именно о ней было сказано, что она любит «не честь, а почести» («Товарищам», 1817) и что она «без гордости спесива» («Горчакову», 1819), именно там встретишь «холопа знатного, невежду при звезде» («Чаадаеву», 1821). Этого своего взгляда Пушкин не изменил и впоследствии. Наоборот, в зрелые годы он еще строже судил «проклятый аристократический круг», эту «светскую чернь». Молодого Пушкина (напр., в послании к Горчакову, 1819 и к Чаадаеву, 1821) поражало холодное бездушные светского общества, пустота его речей. Позднее он выносит те же впечатления. Уже знакомый нам «путешествующий испанец» (в набросках «Гости съезжались на дачу»), не боясь оскорбить своего русского собеседника, заявил, что он посещал высшее общество всех столиц, «но нигде не чувствовал себя так связанным, так неловким, как в проклятом вашем аристократическом кругу». В зале какой-нибудь княгини сидят «немые, неподвижные мумии»; «меж ними нет ни одной моральной власти, ни одно имя не натвержено мне славою», а между тем просвещенный гость Запада чувствует здесь какую-то робость или, вернее, неловкость. Русский не только не стал отрицать этого, но дал свое объяснение: это — своего рода замкнутая каста, которая недоброжелательно встречает всякого чужого человека, не только иностранца; дамы дают тон, но что представляют они собою? «Наши дамы очень поверхностно образованы, ничто европейское к тому же не занимает их мыслей. Политика и литература для них не существует. Остроумие давно в опале, как признак легкомыслия. — О чем же станут они говорить? О самих себе? Нет, они слишком хорошо воспитаны. Остаются им разговор какой-то домашний, мелочный, часто понятный только для немногих, для избранных».

Очной ставки с европейской культурой так называемая русская аристократия не выдерживает. Приехала в Мо-

ску мадам де-Саль. «Московские умники» сумели щегольнуть русским гостеприимством, но разговор не клеился: лишь изредка прерывали свое молчание «убежденные в ничтожестве своих мыслей и оробевшие при европейской знаменитости»; только каламбур Саль пришлось им по разуму. Полине было стыдно за аристократическое общество, показавшее себя столь ничтожным в глазах женщины, которая «привыкла к увлекательному разговору высшей образованности»: «тупые лица, тупая важность и только», это — «обезьяны просвещения», «светская чернь» («Рославлев», 1831). Последнее выражение подвернется Пушкину и в «Евгении Онегине» («Кто черни светской не чуждался» — гл. VIII, строфа X). Того же социального происхождения и «чернь тупая», предъявляющая поэту свои морально-утилитарные требования.

В массе своей старое дворянство, как мы знаем, уступило свое место новой знати и образовало род среднего сословия. Но меньшинство все-таки осталось в составе «высшего общества». Эти вельможи — другого культурного и психического склада.

Любовно останавливает Пушкин свой взгляд на истинных представителей старого дворянства: в них — история, в них — культура; они — действительные носители самосознания, достоинства и чести своего класса.

Сильно заинтересовала Пушкина личность князя Якова Долгорукова, который осмеливался резко спорить с Петром I и однажды разорвал его указ. Пушкин подробно пересказывает этот эпизод. В стансах 1826 г. поэт также вспоминает в назидание Николаю, как перед Петром от буйного спрельца был опличен Долгорукий.

В стихотворении 1825 г. Пушкин сравнивает с Долгоруким Н. С. Мордвинова, доблестного государственного мужа:

Сияя доблестью, и славой, и наукой,  
В советах недвижим у места своего,  
Стоишь ты, новый Долгорукий.

Поэтически оценивает Пушкин исторические подвиги полководцев Кутузова и Барклая-де-Толли («Перед гробницею святой», 1831); «Полководец» (1835).

«Счастливейшие минуты» своей жизни провел опальный поэт в семействе Раевских. Старый генерал, с большими военными заслугами, человек высоко просвещенный, а вокруг него — молодежь, талантливые и тонко образованные люди.

Всё это — истинные вельможи, подлинные исторические имена.

Даже кн. Н. Б. Юсупов внушает Пушкину уважение: это — большой русский барин, питомец изысканной европейской культуры. Его дворец — чудо искусства: здесь

... циркуль зодчего, палитра и резец  
Ученой прихоти твоей повиновались  
И вдохновенные в волшебстве состязались,—

говорит поэт в стихотворении «К вельможе» (1829). Со вкусом наслаждался Юсупов цветами и плодами европейского просвещения, был в общении с блестящими умами Европы, и теперь, подобно римскому вельможе, тихо и мудро доживает свой век.

Один всё тот же ты. Сступив за твой порог,  
Я вдруг переношусь во дни Екатерины.  
Книгохранилища, кумирны и картины,  
И стройные сады свидетельствуют мне,  
Что благосклонствуешь ты музам в тишине,  
Что ими в праздности ты дышишь благородно.  
Я слушаю тебя: твой разговор свободный  
Исполнен юности. Влиянье красоты  
Ты живо чувствуешь. С восторгом ценишь ты  
И блеск Алябьевой, и прелесть Гончаровой.  
Беспечно окружась Корреджием, Кановой,  
Ты, не участвуя в волнениях мирских,  
Порой насмешливо в окно глядишь на них  
И видишь оборот во всем кругообразный.

Юсупов пленяет поэта, как импозантная фигура прошлого и как представитель той культуры, которая легла в основу русской дворянской культуры. Герцен так же



поймет социальный генезис Юсупова, но иначе оценит его культурный вес. Юсуповы — цельные и сильные натуры, люди оригинальные, но, — скажет Герцен (в «Былом и Думах»): «иностранный дома, иностранный в чужих краях, праздные зрители, испорченные для России западными предрассудками, для Запада русскими привычками, они представляли какую-то умную ненужность и терялись в искусственной жизни, в чувственных наслаждениях и в нестерпимом эгоизме». И для Пушкина Юсупов — не идеал, но тип бесспорная родовитость и высокая культурность.

Сознание классового достоинства, чувство дворянской чести отличают лучших представителей старого дворянства. По крайней мере, чувство чести, по мнению Пушкина, должно отличать истинного дворянина. Утверждая, что настоящего феодализма в России не было, Евг. Соловьев (Андреевич) в «Опыте философии русской литературы» полагал, что «чувство чести, борьба за право, рыцарская поэзия и рыцарское подвижничество — всё, что красило западно-европейский феодализм, осталось нам чуждо». Поскольку речь идет о чувстве чести, Пушкин не согласился бы с таким мнением. Еще в заметке 1827 г. он писал: «Иностранцы, утверждающие, что в древнем нашем дворянстве не существовало понятия о чести (point d'honneur), очень ошибаются». Уже древнее местничество, при всей его уродливости, служило тому доказательством. Конечно, Пушкин двадцатых годов видел здесь только «спесивую дворянскую оппозицию» и пока не жалеет об ее уничтожении при юном Феодоре. В тридцатых годах этот исторический факт получает у него другое освещение, потому что всё государство и трудовой народ в частности заинтересованы в том, чтобы дворянство развивало в себе «независимость, храбрость, благородство, честь вообще». Это — один из основных тезисов классовой идеологии Пушкина. Недаром старик Гринев скрепил свои наставления сыну пословицей: «Береги платье снову, а честь смолоду». Именно честь, а не почести надо любить дворянству (вспомним: «не честь, а почести любя» в стихо-

творении 1817 г. «Товарищам»). Молодой Пушкин по себе чувствовал, что человек может посвящать опчизне «души высокие порывы» лишь до тех пор, «пока сердца для чести живы» («Чаадаеву», 1818). Пушкинский, или, проще, дворянский взгляд на честь Герцен возведет в общий принцип человеческого достоинства (см. его «Несколько замечаний об историческом развитии чести»).

В записке о дворянстве 1832 г. Пушкин намечал государственные и социальные функции своего класса по таким разделам: «Дворянин-помещик. Его влияние и важность; рекрутство; права. Дворянин в службе. Дворянин в деревне... Дворянин при дворе». Дворянин при дворе и даже дворянин в службе это — столичный дворянин: «аристократия» с небольшой примесью родовитого дворянства, Остаются еще дворянин-помещик, дворянин в деревне: помещное дворянство, составляющее основной кадр своего класса. Жизнь в деревне на положении помещика порождает новую дифференциацию в дворянском классе. Поместное и столичное дворянство во многих отношениях антиподы. А среди помещного дворянства, в свою очередь, различаются две группы: оседлые, большею частью мелкопоместные владельцы, и помещики из отставных служилых людей, чаще всего крупноместные. На эти разновидности Пушкин также обратил свое вдумчивое внимание.

В лицейский период и в двадцатых годах мы могли констатировать у Пушкина преобладание усадебности. Жизнь в Михайловском, хотя и подневольная, укрепила эти симпатии и помогла окончательно осознать их. Знакомый нам Владимир Z\*, который, по поручению Пушкина, уже высказал столько важных мыслей, коснулся и данной темы. С удовольствием покинул он столицу. «Отдыхаю от петербургской жизни, которая мне ужасно надоела», пишет он своему столичному другу и развивает следующие идеи: «Не любить деревни простительно монастырке, только что выпущенной из клетки, да двадцатилетнему камерюнкеру. Петербург прихожая, Москва девичья — деревня же наш кабинет. Порядочный человек по необходимости

проходит через переднюю, редко заглядывает в девичью, а сидит у себя в кабинете. Тем и я кончу — выйду в отставку, женюсь и уеду в свою саратовскую деревню. Звание помещика есть та же служба. Заниматься тремя тысячами душ, коих всё благосостояние зависит совершенно от нас, важнее, чем командовать взводом или переписывать дипломатические депеши». Самостоятельное ведение помещиком деревенского хозяйства будет полезно для крестьян и предохранит его самого от возможного разорения, что в конце концов будет содействовать поддержанию государственного престижа дворянского класса.

Итак, дана новая выразительная формула: «Петербург — прихожая, Москва — девичья, деревня же — наш кабинет». В деревне — родная стихия дворянина.

Правда, «мелкопоместные дворяне», которые «не служат и сами занимаются управлением своих деревушек», поразили Владимира некультурностью: «Какая дикость! Для них не прошли еще времена Фонвизина, между ними процветают Простаковы и Скопинины». Эта характеристика однако, относится не ко всем, и Владимир прекрасно чувствует себя в патриархальной обстановке деревни, «В самом деле», — пишет он другу, — «с тех пор, как я в деревне, я спал отменно благосклонен и снисходителен».

С многочисленными карпинами деревенской жизни помещичьего дворянства, в ее противоположности столичной жизни, мы встретимся в художественных произведениях Пушкина.

## VI

Уделив преимущественное внимание дворянскому классу Пушкин лишь бегло касается других классов и то главным образом в их отношении к классу дворянскому.

Дворянству соотносительно крестьянство. Крестьяне находятся на попечении помещика. Тут дело простое и ясное. От Владимира Z\* мы слышали теорию о хорошем помещике: «Небрежение, в котором оставляем мы наших крестьян, непростительно. Чем более мы имеем над ними

прав, тем более имеем и обязанностей в их отношении». Пушкин не думает, что этот социальный порядок должен сохраниться навеки, но пока он является наилучшим. «Избави меня, боже, быть поборником и проповедником рабства», — пишет Пушкин в «Мыслях на дороге» (1833—1835)<sup>1</sup>, — «я говорю только, что благосостояние крестьян тесно связано с пользой помещиков; и это очевидно для всякого. Злоупотребления встречаются везде. Конечно, должны еще произойти великие<sup>2</sup> перемены; но не должно поропить времени, и без того уже довольно деятельного. Лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от одного улучшения нравов, без насильственных потрясений политических, страшных для человечества».

Следовательно, во-первых, не нужно преувеличивать темных сторон в положении русского крестьянства (обобщать «злоупотребления»). В этом смысле построены возражения Пушкина Радищеву (в частности коснулся Пушкин роли помещика в деле рекрутского набора, что, судя и по записке о дворянстве 1832 г., сильно его интересовало). Положение крепостных в России не хуже положения рабочих в Англии. Во всяком случае, «судьба крестьянина улучшается со дня на день, по мере распространения просвещения».

Социальный вопрос, — и это вторая идея Пушкина, — разрешится эволюционно. Бунты делу не помогут. «Бунт и революция мне никогда не нравились», — писал Пушкин Вяземскому 10 июля 1826 г. Проблема бунта усиленно разрабатывается им в тридцатых годах и всегда в смысле осуждения революционных действий и предпочтения мирной эволюции. Бунтующая «чернь» — ненавистна Пушкину,

<sup>1</sup> В 1830 г. Пушкин радовался, что готовится проект о «новых правах» для крепостных (письмо к Вяземскому от 16 марта 1830 г.). В дневнике под 17 марта 1834 г., сказавши, что балов и праздников, дворянских и купеческих, готовится на полмиллиона, Пушкин спрашивает: «что скажет народ, умирающий с голода?» Небезынтересно, что в стихотворении «Когда великое свершалось торжество» (1836), поэт с негодованием говорит о пренебрежении к «простому народу».

<sup>2</sup> С. А. Венгеров печатает: «мелкие» перемены.

всё равно, идет ли речь об европейских революциях (1789 г. и 1830 г.) или о русских восстаниях. Крестьянские бунты, в частности, большею частью являются результатом поспоронней агитации и к цели своей не приводят. По-ученому занялся Пушкин историей пугачевского бунта, в котором так остро столкнулись классовые интересы крестьянства и дворянства: истребление дворян было лозунгом движения, как определенно сказано в «Капитанской дочке». В одном из примечаний к своей «Истории» Пушкин констатирует: «Весь черный народ был за Пугачева; духовенство ему доброжелательствовало, не только попы и монахи, но и архимандриты и архиереи. Одно дворянство было открытым образом на стороне правительства. Пугачев и его сообщники хотели сперва и дворян склонить на свою сторону, но выгоды их были слишком противоположны». Но пугачевский бунт, в понимании Пушкина, все же лишь «мятеж, начатый горстью непослушных казаков, усилившийся по непростительному нерадению начальства». К «страшному бунтовщику» примкнула «ослепленная чернь» и даже просто «сброд», «сволочь». Народ опомнился и хранит в своей памяти «кровавую пору, которую так выразительно прозвал он пугачевщиною»<sup>1</sup>. Подобным характером отличался и новгородский бунт 1831 г., который усмирался самим царем (Письма, II, 296 стр. и зап. книжка 1831 г.). Но вообще говоря, Пушкин не считал «наш добрый, простой народ» (выражение Полины в «Рославлеве») способным на революционные акты.

От наблюдательности Пушкина не ускользнул рост русского капитализма, значит, русской буржуазии и ее порою успешная борьба с дворянским классом.

Всем памятна картина барской Москвы, набросанная Пушкиным в «Мыслях на дороге» (1833—1835). Грибоедовская

<sup>1</sup> Ср. книгу Н. Чужака Правда о Пугачеве (М., 1926), особенно стр. 56—65 («Два Пушкина»). Автор находит у Пушкина, главным образом в примечаниях к «Истории», «немногие правдивые строчки о пугачевщине и Пугачеве» (57).

Москва стала уже «печальным анахронизмом». «Обеднение Москвы» доказывает «обеднение русского дворянства». «Но Москва, утративши свой блеск аристократический», заключает Пушкин, «процветает в других отношениях: промышленность, сильно покровительствуемая, в ней оживилась и развилась с необыкновенной силою. Купечество богатеет и начинает селиться в палатах, покидаемых дворянством». Осенью 1831 г. в Москву приехал государь, и Пушкин беспокоится (в письме к П. В. Нащокину): «Что-то Москва? Как вы приняли государя, и кто возьмется оправдать старинное московское хлебосольство? Бояре перевелись. Денег нет; нам не до праздников». Однако Москва не уронила своей чести. 8 декабря 1831 г. Пушкин сообщает жене, что Москва «еще не отдохнула от балов» по случаю пребывания двора. На балы денег, значит, хватало<sup>1</sup>. Но, конечно, главным обладателем капитала было уже купечество. Не в одном Нижнем, на Макарьевской ярмарке, мог бы Онегин заметить «меркантильный дух».

Купечество становится опасным соперником дворянства, и это явление озабочивает Пушкина. В беседе с Михаилом Павловичем (дневник 1834 г.) он высказался за полезность установления для купцов звания попомственного почетного гражданина и против легкой возможности получать звание дворянина. Из этого редко выходит что-нибудь путное. *Parvenus* только снижают дворянский класс. Антон Пафнутович Спицын в «Дубровском», один из поместных дворян, может служить таким примером. Дома живет «свинья-свиньей», мужиков обдирает, копит деньги. Нет у него ни чести, ни совести. Это он, в угоду Троекурову, ложно показал, что Дубровские владеют Кистеневкой без всякого на то права. Перед Троекуровым он держится раболепно, а потом считает его «трусом и мужиком». Грехи всех *parvenus* искупает, однако, любимец Пушкина, Владимир Z\*, герой неоконченного «Ро-

<sup>1</sup> В дневнике под 5 декабря 1834 г. читаем: «Москва, хотя уже не то, что прежде, но все-таки имеет еще похоти боярские, *des vellétités d'aristocratie*».

мана в письмах» (1829—1830). Он — гвардеец, значится в числе столичных «аристократов», считается «человеком светским», а между тем только «внук бородастого миллионщика». Владимир — умный и образованный представитель новой аристократии, и автор доверяет ему защиту даже «исторических родов» дворянства.

В дворяне могли выходить и разночинцы. Пушкин отметил этот факт («В одной газете», 1830, в заметках о «Борисе Годунове», 1831). Разночинец, будущий преемник дворянской интеллигенции, несколько раз появляется на страницах Пушкина, но систематических суждений о нем, как о классовой группе, поэт не высказывал, если не считать такого полусушительного замечания (в «Дубровском»), что разночинец, как и иностранец, на почтовом тракте голоса не имеет. В дальнейшем, однако, мы услышим от Пушкина оценку писателя-разночинца.

Прочие классовые группы оставались за пределами пушкинской идеологии тридцатых годов.

В общем классовая структура тогдашней России представлялась Пушкину в виде следующей схемы: дворянский класс, распадающийся на «аристократию» (новое дворянство по преимуществу) и среднее дворянство (старое, родовитое), на столичное и помещичье дворянство; духовенство, купечество, разночинцы, «народ», т. е. ремесленники в городе и крестьянство в деревне. Каждый класс выполняет в государстве свои функции. Высшие функции возложены на высший класс — на дворянство. В интересах страны и народа за дворянством должны быть сохранены его преимущественные права. Кастовости дворянского класса Пушкин, в конце концов, не защищает. Правда, он предпочитает, чтобы звание дворянина было наследственным; допускает, чтобы в особых случаях оно жаловалось волею государя; сомневается в пользе широкого доступа в дворянское сословие всем и каждому, но мирится с этим.

Пушкин хотел бы избежать междуклассовой вражды. «У нас в России», — писал он с чувством удовлетворения

(заметка 1830 г. «С некоторых пор журналисты наши»), — «государственные звания находятся в таком равновесии, которое предупреждает всякую ревнивость между ними. Дворянское достоинство в особенности, кажется, ни в ком не может возбуждать неприязненного чувства, ибо доступно каждому. Военная и статская служба, чины университетские, легко выводят в оное людей прочих званий». Во всяком случае Пушкин не хотел бы видеть той «подлости», которая характеризует в Англии взаимное отношение классов. Там, — сообщает его «англичанин» («Разговор с англичанином»), — нижняя палата раболепствует перед верхней, джентельмен перед аристократией, купечество перед джентельменством, бедность перед богатством. А в России крепостной крестьянин свободно держится по отношению к барину: по наблюдениям англичанина, нет «и тени рабского унижения в его поступки и речи». Пушкин всюду остается непримиримым врагом рабства и холопства.

Есть принцип, который в глазах Пушкина стоит выше всякого сословно-классового принципа: это — личное достоинство человека. «Достоинство — всегда достоинство, и государственная польза требует его возвышения», — говорит русский собеседник путешествующего испанца, alter ego Пушкина («Гости съезжались на дачу», 1832). «Конечно», — рассуждает сам Пушкин («В одной газете», 1830), — «есть достоинства выше знатности рода, именно: достоинство личное... Имена Минина и Ломоносова вдвоем перевесят, можешь быть, все наши старинные родословные». Слова эти опять в буквальном виде повторяет Владимир З\*.

Значит, есть люди, которые сами собою начинают знаменитый род, и «неужто потомству их смешно было бы гордиться сими именами»? «Гордится славою своих предков не только можно, но и должно; не уважать оной есть постыдное малодушие», — читаем в заметке, которую относят еще к 1827 г. «Государственное правило», — говорит Карамзин, — «ставит уважение к предкам в достоинство



гражданину образованному». Пушкин того же мнения. «Бескорыстная мысль, что внука будут уважать за имя, нами им переданное, не есть ли благороднейшая надежда человеческого сердца?» В конце концов дело — не в принадлежности человека к тому или другому классу, а в историческом весе его рода и в его личном достоинстве.

Наблюдая московскую жизнь тридцатых годов, упрямившую «свой блеск аристократический», Пушкин ясно понимал, что «упадок Москвы» обуславливается «обеднением русского дворянства». Повидимому, такое заключение должно было бы повергнуть его в элегическое настроение, но поэт недаром привык мыслить исторически (может быть, позволительно сказать — диалектически). Дворянская аристократия в упадке, зато Москва, — бодро заявляет он, — «процветает в других отношениях»: оживилась промышленность (вместе с ростом купечества) и развивается просвещение, — чему содействует среднее дворянство и русские писатели вообще (приводится ряд показательных фактов из области науки, философии, литературы). Культурный прогресс важнее всего.

## VII

Всё изложенное в предыдущих главах служит социологическими предпосылками для классового самоопределения Пушкина в тридцатых годах. Проблема самоопределения более всего занимала и волновала Пушкина в первые годы этого десятилетия.

Еще с 1821 г. стал он пристально заниматься своей автобиографией. В 1830 г. он уже набрасывает ее, начиная с родословной Пушкиных и Ганнибалов. Пушкин мог говорить о своей родovitости: «имя предков моих встречается поминутно в нашей истории»<sup>1</sup>. В разговоре с великим

<sup>1</sup> В заметке «В одной газете» (1830) Пушкин повторил свою родословную и опять сказал: «Вообще имя моих предков встречается почти на каждой странице нашей истории» (как и имя собеседника в отрывке «Гости съезжались»).

князем Михаилом Павловичем он мог фамильярно заметить, что Пушкины не уступят в знатности самим Романовым. («Nous, qui sommes aussi bons gentilhommes que l'Empereur et Vous» — дневник под 22 дек. 1834 г.). Но, как это случилось с большею частью старого дворянства, род Пушкиных стал приходиться в упадок. — «Ныне», — писал Пушкин в 1830 г. («В одной газете»), — «огромные имения Пушкиных раздробились и пришли в упадок: последние их родовые имения скоро исчезнут; но имя останется честным, единственным достоянием темных потомков некогда знатного боярского рода». Теперь Пушкины принадлежат не к «аристократии», не к знати, а к среднему дворянству, к тем, кто составлял, по выражению Пушкина, род среднего состояния, *fiers état*, «мещанство». Поэт ничего не имеет против такого наименования, которым его хотел уколоть Булгарин. «В одной газете, почти официальной», пишет Пушкин, «сказано было, что я — мещанин во дворянстве. Справедливее было бы сказать: дворянин во мещанстве». В чеканно-лапидарных стихах, с большим достоинством и с тонкой иронией дал Пушкин анализ своей родословной («Моя родословная или русский мещанин», 1830).

Понятна мне времен превратность,  
Не прекословлю, право, ей.  
У нас нова рожденьем знатность,  
И чем новее, тем знатней.  
Родов униженных обломок,  
И слава богу не один,—  
Бояр старинных я потомок  
Я мещанин! Я мещанин!

.....  
Под гербовой моей печатью  
Я свиток грамот сохранил,  
И, не являясь с новой знатью,  
Я крови спесь уgomнил.  
Я неизвестный стихотворец,  
Я Пушкин просто, не Мусин,  
Я сам большой, не царедворец:  
Я грамотей, я мещанин.

Тот же ряд мыслей развивает Пушкин в «Родословной моего героя» (1833). Он — «мещанин» «и в этом смысле демократ». Но старина и ее достоинство дороги ему.

Мне жаль, что нашей славы звуки  
Уж нам чужды; что спросга  
Из бар мы лезем в tiers état;  
Что нам не в прок пошла науки,  
И что спасибо нам за то  
Не скажет, кажется, никто.  
Мне жаль, что тех родов боярских  
Бледнеет блеск и никнет дух;  
Мне жаль, что нет князей Пожарских,  
Что о других пропал и слух;  
Что их поносит и Фиглярин;  
Что русский вепренный боярин  
Считает грамоты царей  
За пыльный сбор календарей;  
Что в нашем тереме забытом  
Растет пустынная трава;  
Что геральдического льва  
Демократическим копытом  
Теперь лягает и осел:  
Дух века вот куда зашел!

Род Пушкиных — «один из самых старинных дворянских наших родов», и поэт, в силу своей теории, не считает зазорным гордиться предками. Напрасно видят в этом простое подражание Байрону и проявление «дворянской спеси». «Я русский дворянин и я знал своих предков прежде, чем узнал Байрона», — твердо заявляет Пушкин. «Если быть старинным дворянином значил подражать английскому поэту, то сие подражание весьма невольное». Кроме того, Пушкин просит обратить внимание на существенную разницу: английский лорд привязан «к своим феодальным преимуществам»<sup>1</sup>, а он, Пушкин, проявляет лишь «беско-

<sup>1</sup> В очерке «Лорд Байрон» (1835) Пушкин писал следующее: «Говорят, что Байрон своею родословною дорожил более, нежели своими творениями. Чувство весьма понятное. Блеск его предков и почести, которые наследовал он от них, возвышали поэта; напротив того, слава, им самим приобретенная, принесла ему мелочные оскорбления, часто унижавшие благородного Байрона»

рыбистное уважение к мертвым предкам, коих минувшая знаменитость не может доставить нам ни чинов, ни покровительства», ибо теперь в силе аристократия иного рода <sup>1</sup>. Он гордится своим родом так же, как Суворов, который «не презирал своим дворянским происхождением» и писал свою родословную <sup>2</sup>.

В Пушкине явно сказались типичная психология представителя родовитого, но униженного дворянства. Неприязненно настроен он по отношению к новой аристократии и к бюрократии, ревниво оберегая свою честь, которая является не только его личной честью, но честью его рода и даже отечества (ибо история его дома есть история опечетства). Он — в постоянной оппозиции или, по крайней мере, настороже. То, что говорил Пушкин в беседе с Михаилом Павловичем о декабристах, применимо к его собственной психологии: старинное и просвещенное, но обедневшее дворянство не может не питать «ненависти противу аристократии», против новой, чиновной знати. Последняя, конечно, платит поэту еще большей ненавистью. Трагическая дуэль бросает свет на социальную драму поэта. Лермонтов хорошо понимал своего собрата, поэта с «гордой головой», который погиб, как «невольник чести». Как будто повторяя общую мысль Пушкина и его формулу «родов униженных обломков», Лермонтов бичует «надменных потомков известной подлостью прославленных опцов», которые «пятою рабскою» попрали «обломки игрою счастья обиженных родов».

Мы уже видели, что молодой Пушкин предпочитал держаться в стороне от большого света <sup>3</sup> (хотя и не

<sup>1</sup> Ср. аналогичные мысли в заметках о «Борисе Годунове» по поводу того, что он вывел здесь одного из своих предков.

<sup>2</sup> В разборе сочинений Георгия Канисского (1835) Пушкин не преминул отметить, что архиепископ белорусский «происходил от старинного шляхетского рода, и эпитим вовсе не пренебрегал», как видно из эпиграфы, сочиненной им самим.

<sup>3</sup> Интересно сравнить это с тою неприязнью, какую К. С. Аксаков питал к «студентам-аристократам». См. его «Воспоминания студентства» (1832—1835 годов). Спб. 1911, стр. 37—38.

всегда мог устоять перед его соблазнами). Когда судьба столкнула его на служебном поприще с гр. М. С. Воронцовым, корректным джентельменом, но холодным и надменным бюрократом, желавшим к тому же «спасти нравственность поэта», тот стал в оппозицию как к самому вельможе, так и к одесским аристократам, которые жили по камертону Воронцова. Дело кончилось полным разрывом. «Воронцов — вандал, придворный хам и мелкий эгоист», — писал Пушкин А. И. Тургеневу 14 июля 1824 г.: «Он видел во мне коллежского секретаря, а я, признаюсь, думаю о себе что-то другое... Брошу службу, займусь рифмой». Пушкину дороги его дворянская честь, личная независимость и достоинство писателя. В сношениях с Бенкендорфом он апеллирует к «чести дворянина» (Письма, II, 73). Но независимость прежде всего. В 1831 г. Пушкин рвется из Москвы в Петербург, чтобы там жить «en bourgeois» «мещанином, припеваючи, независимо и не думая о том, что скажет Марья Алексевна» (в письмах к Плещеву). Надежды не оправдались. «Обласканный» Николаем и приближенный ко двору, Пушкин на каждом шагу испытывал нравственные оскорбления, унижения чести и уколы самолюбия. Сколько огорчений доставило ему одно камерюнкерство, — ему, который еще недавно («Моя родословная», 1830) мог с гордостью говорить: «я — сам большой, не царедворец». Многочисленные следы этого имеются в его письмах (напр., III, 84, 98, 101, 108, 122, 125) и в дневнике (1834, янв. 1, 17, 26; дек. 5). «Теперь они смотрят на меня, как на холопа, с которым можно им поступать, как им угодно», жалуется Пушкин жене 8 июня 1834 г.: «Опала легче презрения. Я, как Ломоносов, не хочу быть шупом ниже у господ бога»<sup>1</sup>. Наталья Николаевна захлебывалась от счастья, что она блистает при дворе, и хлопотала «о помещении сестер во дворец». А Пушкин отговаривает ее: «Мой совет тебе и сестрам — быть подале от двора: в нем толку мало» (письмо от 11 июня 1834 г.). И тут же у Пушкина вырывается

<sup>1</sup> Ср. в дневнике под 10 мая 1834 г.: «Но я могу быть поданным, даже рабом, — но холопом и шупом не буду и у царя небесного».

вается характерное восклицание: «Боже мой! Кабы Заводы были мои, так меня бы в Петербург не заманили и московским калачом. Жыл бы себе барином. Но вы, бабы, не понимаете счастья независимости и готовы закабалить себя навеки, чтобы только сказали про вас: hier madame une telle était décidément la plus belle et la mieux mise du bal». Несколько ранее, также в письме к жене (18 мая 1834 г.), поэт выражал горячее желание «плюнуть на Петербург, да подать в отставку, да ударить в Болдино, да жить барином! Неприятна зависимость; особенно, когда лет 20 человек был независим».

«Счастье независимости» ассоциируется в сознании Пушкина прежде всего с жизнью в деревне на положении вольного (не служащего) помещика. Пусть неприязнательная простота деревенской усадьбы, «щей горшок», да, по крайней мере, «сам большой» (XVI строфа «Странствия Онегина», 1829—1830).

Пушкин не отказывался быть помещиком. Хотя бы по письмам можно проследить, как порою деловито рассуждает он о хозяйственных вопросах (напр., I, 182—183; III, 111—112, 199, 330—331, 366—367, 399—400, 469), как разбирает челобитья мужиков (Письма, III, 164—165), как закладывает крепостные души (Письма, II, 223), и как иной раз по-барски претрирует «хамов» и «холопов» (Письма, I, 382; II, 351, 355, 397). Пушкин не отрекался от прав, предоставленных помещику законом, но, конечно, не злоупотреблял своими правами. Более того, считать его заправским помещиком, который с деревенским хозяйством связывает свои главные интересы, было бы невероятной натяжкой. Пушкин не прочь подтрунить над своей ролью помещика, когда он уже юридически стал таковым: <sup>1</sup> пришли мужики с челобитвем, надо «хитрить»; они, наверное, перехитрят, «хо-

<sup>1</sup> Т. е. с 1830 г. До этого Пушкин имел основание говорить: «А у меня нет родительской деревни с соловьями и с медведями» (в письме от 27 марта 1825 г.); «я богат через мою торговлю стишистую, а не прадовскими вотчинами, находящимися в руках Сергея Львовича» (в письме от мая — июня 1828 года).

тя я сделался ужасным политиком, с тех пор как читаю «*Conquête de l'Angleterre par les Normands*» (письмо к жене от 15 сентября 1834 г.). В 1836 г. Пушкин мечтал о том, чтобы оставить себе только усадьбу с садом да дюжину дворовых<sup>1</sup>.

Как и прежде, деревня прельщает Пушкина в другом отношении. «Ах, мой милый», пишет он П. А. Плещеву 9 сент. 1830 из Болдина: «что за прелесть здешняя деревня! вообрази: степь да степь; соседей ни души; ездят верхом, сколько душе угодно, пиши дома, сколько вздумается, никто не помешает». Хорошо бы всегда работать так, как писался, например, «Борис Годунов». «Писанная мною в строгом уединении, вдали охлаждающего света<sup>2</sup>, плод добросовестных изучений, постоянного труда, трагедия сия», вспоминал Пушкин, — «доставила мне всё, чем писателю насладиться дозволено».

Оброк мужиков был нужен Пушкину, чтобы чувствовать себя независимым и свободно творить. Герцен понимал это.

Характерным рефлексом классовое самоопределение Пушкина отразилось в его самосознании, как писателя.

## VIII

«Старинное дворянство... ныне, по причине раздробленных имений, составляет у нас род среднего состояния, состояния почтенного, трудолюбивого и просвещенного; состояния, коему принадлежит и большая часть наших литераторов». Так говорит от имени Пушкина Б. в диалоге 1830 г. («Разговор»)<sup>3</sup>.

Дело ясное: большая часть русской интеллигенции и, следовательно, русских писателей тридцатых годов выхо-

<sup>1</sup> «Письма Пушкина и к Пушкину», ред. М. Цявловского, М. 1925, стр. 40.— Ср. П. Щеголев «Пушкин и мужики» (М. 1928).

<sup>2</sup> Разрядка моя.

<sup>3</sup> В заметке «Новые выходы против п. н. литературной нашей аристократии» (1830) Пушкин писал: «...если большая часть наших писателей дворяне, то сие доказывает только, что дворянство наше (не в пример прочим) грамотное».

дила из среднего дворянства, старинного, но обедневшего. Значит, меньшая часть составлялась другими классами, особенно так называемыми разночинцами. Здесь, как и во других случаях, Пушкин точно определил общественный факт.

Господствующим классом было дворянство, культура носила дворянский отпечаток, и главная масса писателей принадлежала дворянству, именно среднему дворянству. Самого себя Пушкин, естественно, причисляет к этой преобладающей группе<sup>1</sup>.

Та экономическая ситуация, в которой находилось среднее (обедневшее) дворянство, существенным образом отражалась на положении писателя-дворянина. Пушкин отдает себе в этом полный отчет.

Было время, когда, по выражению *м-те де-Стааль*, в России литературой занимались лишь несколько дворян (*en Russie quelques gentilhommes se sont occupés de littérature*)<sup>2</sup>. Материально вполне обеспеченные, они «упражнялись» в литературном труде из любви к искусству, между делом; о литературном заработке не могло быть и речи. Литература рассматривалась тогда,—писал Пушкин барону Баранту 16 дек. 1836 г. (Письма, собранные М. А. Цявловским),—«только как занятие изящное и аристократическое... Никто не думал извлекать других плодов из своих произведений, кроме успеха в обществе». Писатели-недворяне рассчитывали на милость высокопоставленных меценатов. Таков был порядок вещей. Теперь он отошел в прошлое.

И. И. Дмитриев подсмеивался над пушкинским поколением писателей. Отвечая ему, Пушкин между прочим писал 14 февр. 1835 г.: «Что касается до выгод денежных,

<sup>1</sup> Любопытно, что некоторых своих героев, даже небольшого каибра (Чарского, Гринева, Белкина), Пушкин наделяет влечением к писательству.

<sup>2</sup> Сказано в 1811 г., в книге *«Dix ans d'exil»*. Пушкин цитирует эти слова в «Мыслях на дороге» (1833—1835) в главе о Ломоносове, и в письме к Баранту от 1836 г.



по позволѣте заметить, что Карамзин первый у нас показал пример больших оборотов в торговле литературной». Та же мысль в развитом виде была изложена еще в записке 1831 г. (по поводу издания газеты): «Десять лет тому назад литературою занималось у нас весьма малое число любителей. Они видели в ней приятное, благородное упражнение, но еще не отрасль промышленности; читателей было еще мало... Человек, имевший важное влияние на русское просвещение, посвятивший жизнь единственно на ученые труды, Карамзин первый показал опыт торговых оборотов в литературе». Но литературная собственность еще не была защищена законом. Это произошло лишь при императоре Николае I. Цензурный устав 1828 г. содержал приложение о правах сочинителей; окончательная редакция права литературной собственности дана в законе 1830 г. Закону этому Пушкин присваивает огромное значение: «Литература оживилась и приняла обыкновенное свое направление, т. е. торговое (разрядка автора). Ныне составляет она отрасль промышленности, покровительствуемой законом».

Пушкину с самого начала пришлось решать материальную проблему писателя. И в неизмеримо большей степени, чем, например, князю Вяземскому, которого по этому случаю поэт шутливо именуется аристократом (например, в письме от 19 августа 1823 года)<sup>1</sup>. Сначала ему нужно было пересиливать в себе классовые предрассудки<sup>2</sup>. И он достиг этого. В июне 1824 г. Пушкин говорил

<sup>1</sup> Для полноты картины полезно было бы параллельно изучить также вопрос о классовом самосознании Вяземского.

<sup>2</sup> В первой половине двадцатых годов Пушкин еще держится того мнения, что, в противоположность западным собратьям, русские литераторы пишут не из-за денег. Он писал, напр., Рылееву (во второй половине июня 1825 г.): «Не должно русских писателей судить как иностранцев. Там пишут для денег, а у нас (кроме меня) из щеславия. Там стихами живут, а у нас граф Хвостов прожил на них. Там есть нечего — так пиши книгу, а у нас есть нечего, так служи да не сочиняй». Денди Чарский («Египетские ночи», 1835), не желающий, чтобы его принимали за поэта, не имеет нужды в литературном заработке.

А. И. Казначееву: «Я уже победил свое отвращение писать и продавать стихи, чтобы жить; самый большой шаг сделан; если я еще пишу только под капризным влиянием вдохновения, то на стихи, раз написанные, я уже смотрю только как на товар (сomme une marchandise)... по столыку-то кусок». В конце 1822 или в начале 1823 г. он пишет князю П. А. Вяземскому, что смотрит на поэзию, «с позволения сказать, как на ремесло... Аристократические предубеждения пристали тебе, но не мне — на конченную свою поэму я смотрю, как сапожник на пару своих сапог: продаю с барышом». В мае 1824 г. он уверяет А. И. Казначеева: «Ради бога не думайте, чтобы я смотрел на стихотворство с детским тщеславием рифмача или как на отдохновение чувствительного человека: оно просто мое ремесло, отрасль честной промышленности, доставляющая мне пропитание и домашнюю независимость». И Пушкин открыто, с подчеркиванием даже, торгует своим товаром. В письме от 21 сентября 1821 г. он предлагает Н. И. Гречу «Кавказского пленника» в следующих выражениях: «Хотите ли вы у меня купить весь кусок поэмы? Длиною в 800 стихов; стих шириною — 4 стопы — разрезано на две части; дешево отдам, чтобы товар не залежался». А в письме к Вяземскому от июля 1825 г. выразился: «стихами торгую en gros, а свою мелочную лавку, № 1, запираю». Свое стремление покинуть юг Пушкин между прочим мотивировал тем, что в Москве и Петербурге, где находятся журналы, цензоры и книгопродавцы, ему удобнее вести «книжный торг» (письмо А. И. Казначееву от 25 мая 1824 г.). Еще до издания закона о литературной собственности Пушкин энергично защищал свои права (эпизоды с Ольдекопом и письма к Бенкендорфу от 1827 г.; о том же вспоминает он в записке 1831 г. по поводу издания газеты). Когда укоряли Пушкина дорогой ценой «Евгения Онегина», он оправдывал книгопродавцев и себя ссылкой на условия книжного рынка и прибавлял: «Эти торговые обороты нам, мещанам-писателям, очень известны». Литературный труд, а не что-нибудь другое, дает ему средства к существованию

и возможную независимость. Сочинения «составляют одно мое имущество», не преувеличивая дела, писал Пушкин Бенкендорфу в августе 1828 г. Когда Муханов без спроса «распустил по свету» начало «Цыган», Пушкин воскликнул: «Варвар! ведь это кровь моя, ведь это деньги!» (письмо к Вяземскому от 19 февраля 1825 г.). «Деньги, деньги: вот главное», — напоминает он Плещневу в письме от 13 января 1831 г. Занятый печатанием «Истории пугачевского бунта», Пушкин, по его выражению, делал деньги и пояснял жене (письмо от июля 1834 г.): «Я деньги мало люблю; но уважаю в них единственный способ благопристойной независимости».

После этого становится понятным небольшой эпизод в «Египетских ночах». Итальянский импровизатор «обнаружил такую дикую жадность, такую простодушную любовь к прибыли, что он опрокинул Чарскому». «Неприятно было Чарскому с высоты поэзии вдруг упасть под лавку конторщика; но он очень хорошо понимал житейскую необходимость и пустился с итальянцем в меркантильные расчеты». К этому нужно только прибавить, что сам Пушкин придавал финансовой стороне писательского ремесла неизмеримо большее значение, чем его Чарский.

Как подлинный реалист, Пушкин принял факт и сделал из него логические выводы. Произведения его шли хорошо, и временами он испытывал полное удовлетворение. 8 марта 1824 г. он пишет кн. Вяземскому: «Начинаю почитать наших книгопродавцев и думать, что ремесло наше, право, не хуже другого... Уплачу долги и засяду за новую работу. Благо я не принадлежу к нашим писателям XVIII века: я пишу для себя, а печатаю для денег, а ни чуть для улыбки прекрасного пола». «Не продается вдохновенье, но можно рукопись продать», — нашел аналогичную формулу благородный книгопродавец в диалоге того же 1824 г. «Разговор книгопродавца с поэтом». Поэт диалога — человек еще с прежней психологией<sup>1</sup>: он помнит время по, когда «писал

<sup>1</sup> Местами не без намека на кн. Шаликова, «поэта прекрасного пола», — как признается сам Пушкин в письме к Вяземскому от 19 февр. 1825 г.

из вдохновенья, не из платы», и когда «музы сладостных даров не унижал постыдным торгом». Книгопродавец спокойно указал ему на действительность: «Наш век — торгаш; в сей век железный без денег и свободы нет». Поэт согласился с его доводами и спал продавать свою рукопись. Проблема, повидимому, решена. Но в психологии поэта, разговаривающего с книгопродавцем, было нечто дорогое Пушкину, что от времени до времени продолжало напоминать о себе. Через десять лет после «Разговора» Пушкин в апреле 1834 г. жалуется Погодину: «Вообще пишу много про себя, а печатаю поневоле и единственно для денег: охота являться перед публикою, которая вас не понимает... Было время, литература была благородное, аристократическое поприще. Ныне это вшивый рынок. Быть так». Тяжело писать, когда публика и журналисты не понимают тебя, а писать надо — для денег. Кроме того, есть у Пушкина и более тонкий, более интимный мотив: вдохновенное творчество и срочная работа на рынок — трудно совместимы между собой. Пушкин и ищет возможности обеспечить себе досуг, необходимый для свободного творчества: частью это могли быть доходы с имения, а главным образом издание журнала. 21 сентября 1835 г. Пушкин делится с женой грустными мыслями: «Царь не позволяет мне ни записаться в помещики, ни в журналисты. Писать книги для денег, видит бог, не могу». Права на издание периодического органа Пушкин добивался давно, потому что, как сказано в записке 1831 г., «изо всех родов литературы, периодические издания более приносят выгоды», особенно те, в которых есть политический отдел. Издатели «Северной Пчелы» стали монополистами литературной торговли. Пушкин хлопочет о политическом отделе для «Литературной газеты», издаваемой Дельвигом и им. Известно, что неоднократные попытки Пушкина наладить собственный журнал кончались неудачей. Лишь незадолго до смерти он смог издавать свой «Современник», «наподобие английских трехмесячных Reviews». Испрашивая на него разрешение, Пушкин писал Бенкендорфу 31 декабря

1835 г.: «Отказавшись от участия во всех наших журналах, я лишился и своих доходов. Издание таковой Review доставило бы мне вновь независимость, а вместе и способ продолжать труды, мною начатые». На путь журнализма поэта толкали прежде всего экономические мотивы<sup>1</sup>.

Второй вопрос, также вытекавший из социального положения Пушкина и его писательской группы, касался общественного веса писателя, в частности так называемого *меценатства*. Это — вопрос нравственного порядка.

Принципиально говоря, класс писателей — огромная социальная сила, «самая мощная» и, с известной точки зрения, «самая опасная» аристократия. «Что значит аристократия породы и богатства в сравнении с аристократией пишущих талантов? Никакое богатство не может перекупить влияния обнародованной мысли. Никакая власть, никакое правление не может устоять пропиву всеразрушительного действия типографского снаряда» («Мысли на дороге», 1833—1835). Подходя к русским писателям с самой скромной меркой, всё же нельзя не видеть, что класс писателей — «класс важный у нас, ибо, по крайней мере, составлен из грамотных людей» (в записке 1831 г. об издании газеты).

В действительности, однако, такой взгляд далеко не был общим достоянием. Писатели-аристократы, которых характеризовала *т-те де-Сталь*, не считали себя да и не были профессиональными литераторами: их общественный вес определялся другими признаками. Неаристократы и особенно «мелкоправчатые» писатели (этот термин был в ходу в XVIII в.) искали покровительства высокопоставленных людей, меценатов. Еще во второй половине XVIII в. писатели (Лукин, Павел Львов, Михаил

<sup>1</sup> Любопытно, что тема «Словесность и торговля» будет дебатироваться и позднее (по поводу издательской деятельности Смирдина) при участии Шевырева и Белинского. Ср. в статье Скабичевского «Сорок лет русской критики» (Сочинения, т. I, стр. 375—378) и в книге Т. Грица, В. Тренина, М. Никипина «Словесность и коммерция» (книжная лавка А. Ф. Смирдина). М. 1928.

Попов и др.) задумывались над ненормальностью такого положения вещей. Но во всей своей определенности и остроте вопрос мог возникнуть лишь в дворянской группе писателей, т. е. в той социальной среде, к которой принадлежали Пушкин и его литературные друзья. Гордое сознание своей родовитости, неприязнь к «аристократии» в специфическом смысле, развитые чувства чести и независимости преобладали окончательной ликвидации того положения, которым тяготелись уже некоторые писатели XVIII в.

Во времена Пушкина, как верно заметил В. И. Сафонович (Р. Арх., 1903, I, 493), в высшем кругу, принимая поэтов и известных артистов, «не столько им желают угождать, сколько пребывают от них угождения». Пушкин больно почувствовал это во время своего столкновения с Воронцовым. А. И. Казначеев (правитель канцелярии) по-чиновничьи советовал Пушкину не пренебрегать покровительством сильного человека, а тот отвечал, что он уже устал зависеть от хорошего или дурного пищеварения такого-то и такого-то шефа, что более всего дорожит независимостью (*l'indépendance*) и не рассчитывает на покровительство Воронцова. «Я не знаю ничего, что более унижало бы, чем покровительство (*le patronage*)», — говорит поэт (в письме от июня 1824 г.): «я слишком уважаю этого человека, чтобы желать унижаться перед ним. Затем у меня есть демократические предубеждения, которые стоят предубеждений аристократии». Под впечатлением того же эпизода Пушкин пишет Вяземскому (в июне 1824 г.): «На Воронцова нечего надеяться. Он холоден ко всему, что не он, а меценатство вышло из моды — никто из нас не захочет великодушного покровительства просвещенного вельможи. Это обвещало вместе с Ломоносовым. Нынешняя наша словесность есть и должна быть благородно-независима». Через год, по поводу критического обзора А. А. Бестужева (в «Полярной Звезде»), где также затронута проблема меценатства, поэт в энергичных выражениях развивал те же мысли (в мае — июне 1825 г.): «Так! мы можем праведно гордиться: наша словесность,

уступая другим в роскоши талантов, тем пред ними отличается, что не носит она на себе печати рабского унижения. Наши таланты благородны, независимы. С Державиным умолкнул голос лестии... Причина ясна. У нас писатели взяты из высшего класса общества. Аристократическая гордость сливается у них с авторским самолюбием: мы не хотим быть покровительствуемы равными. Вот чего подлец Воронцов не понимает. Он воображает, что русский поэт явится в его передней с посвящением или с одою — а пот является с требованием на уважение, как шестисоплестный дворянин — дьявольская разница». Трудно выразиться определеннее. Ссылка на шестисоплестнее дворянство не понравилась Рылееву, и Пушкин счел нужным пояснить (в письме от второй половины июня 1825 г.): «Ты сердисься за то, что я хвалюсь шестисоплестным дворянством (NB мое дворянство старее). Как же ты не видишь, что дух нашей словесности отчасти зависит от состояния писателей? Мы не можем подносить наших сочинений вельможам, ибо по своему рождению почитаем себя равными им. Отселе — гордость etc.»<sup>1</sup>. Та же мысль буквально повторена Пушкиным в «Мыслях на дороге» (1833—1835), в главе о Ломоносове.

Даже писателю-дворянину нужно было завоевывать себе уважение в светском обществе. Самолюбивому человеку удобнее было появляться в гостиных не в качестве сочинителя, а в качестве дворянина. С этим ощущением хорошо был знаком и сам Пушкин, особенно в более молодые годы. Эту психологию воплотил он в Чарском («Египетские ночи», 1835), который раздраженно говорил импровизатору: «Звание поэтов у нас не существует. Наши поэты не пользуются покровительством господ; наши поэты сами господа, и если наши меценаты (чорт их по-

<sup>1</sup> В данном случае эту гордость Пушкин связывал также с материальной обеспеченностью русских писателей, которые-де пишут не для денег, а из тщеславия. Впрочем, для себя и тут он сделал исключение.— К слову сказать, Рылеев все-таки остался при своем убеждении (Письма Пушкина, I, 298—299).

бери!) этого не знают, тем хуже для них». И, конечно, неспроста Чарский задает импровизатору тему: «поэт сам избирает предметы для своих песен; толпа не имеет права управлять его вдохновением». Именно на этой почве автору «Черни» и «Памятника» пришлось всю жизнь вести тяжбу с светскими профанами.

Легче всего было заявить «гордость» писателям-дворянам, но вопрос в глазах Пушкина получает общее значение, будучи связан с основной проблемой о достоинстве литературы<sup>1</sup>. Пушкин был того мнения, что даже в век меценатства и лести такие писатели, как Ломоносов или Державин, умели говорить языком, исполненным достоинства (см. очерк о Ломоносове в «Мыслях на дороге», 1833—1835 г., и характеристику Державина в цитированном выше письме 1825 г. к Беспужеву). Тем более подобает держаться этого тона теперь. Дело не в одном принципе патронажа, а в нравственной атмосфере литературной среды, в чистоте литературных нравов. В эпоху, когда царил Булгарин, Пушкин придавал этому вопросу исключительную важность. Литераторы подличают и перед публикой и перед влиятельными писателями. «...С некоторых пор»,— говорит Пушкин в «Мыслях на дороге» (1833—1835),— «литература стала у нас ремесло выгодное, и публика в состоянии дать более денег, нежели его превосходительство такой-то». Это, с одной стороны. А с другой (*ibidem*): «Нынче писатель, краснеющий при одной мысли посвятить книгу свою человеку, который выше его двумя или тремячинами, не стыдится публично жать руку журналисту, ошельмованному в общем мнении, но который может повредить продаже книги, или хвалебным объявлением заманить покупателей. Ныне последний из писак, готовый на всякую частную подлость, громко проповедует независимость и пишет безыменные пасквили на людей, перед которыми расстилается в их кабинете».

<sup>1</sup> Этой проблемы касается Пушкин также в заметке о русской литературе с очерком французской (1834), упрекая французских писателей в отсутствии чувства независимости и личного достоинства.



Нетрудно догадаться, против кого направлены приведенные слова. Конфликт поэта с болгаринской группой выявил третий момент в классовом самоопределении Пушкина, как писателя.

Естественно, что у Пушкина был свой литературный круг. Не говоря о спариках, как Карамзин, Дмитриев, Жуковский, сюда в разное время входили: князь Вяземский, барон Дельвиг, князь Одоевский, Гнедич, Капенин, Боратынский, Рылеев, Бестужев, Кюхельбекер, И. Киреевский, Плетнев и Гоголь. Погодин и Шевырев некоторое время были также близки к Пушкину. Но это не помешало Погодину писать Шевыреву по поводу издания «Европейца» Киреевским: «все аристократы у него», разумея тут Пушкина, Жуковского, Одоевского, Вяземского, Боратынского, А. И. Тургенева, Хомякова и Языкова. В Погодине сказалось самосознание разночинца, который чувствовал себя по другую сторону классовой черты. Когда разгорелась полемика<sup>1</sup>, Булгарин, Греч, Полевой заговорили о «литературной аристократии» и тем подчеркивали существование демократической группы писателей. «В прямом или переносном смысле, все-таки они демократические журналы» («Разговор», 1830), — сказал и сам Пушкин<sup>2</sup>.

Весь этот эпизод в социологическом отношении чрезвычайно интересен. Я возьму из него то, что важно для моих целей.

В двадцатых годах Пушкин и его ближайшие друзья (напр. Вяземский) не чуждались общения с Гречем, Булгариным, тем более с Полевым. В полемике с Каченовским

<sup>1</sup> Ср. обстоятельную статью А. Г. Фомина «Пушкин и журнальный триумвират 30-х годов» в V т. «Пушкина», под редакцией С. А. Венгерова. См. также статью В. Фишера «Пушкин и журнальная полемика его времени» в сборнике историко-филологического факультета Петербургского университета (СПб, 1900).

<sup>2</sup> Кроме названных писателей, и Нестор Кукольник причислял Пушкина к аристократам и между прочим «находил его ученость слишком поверхностною, слишком аристократическою» (его дневник в «Баяне», 1833, № 11, стр. 98). На стороне «демократов» был еще М. А. Бестужев-Рюмин.

Пушкин был на стороне Полевого («Отрывок из литературных летописей», 1829). Но Пушкин не скрывал того, что в его глазах это — люди другого литературного круга. Не раз он предлагал своим друзьям сплотиться в оборонительный союз не только против цензуры (Письма, I, 60—61), но главным образом против монополистов журналистики (Письма, I, 116, 383). Борьба эта, как мы видели, подсказывалась в значительной степени экономическими соображениями. Но были у Пушкина и мотивы иного порядка.

Во-первых, нельзя отрицать, что известную роль сыграла здесь классовая психология Пушкина. Набрасывая план для задуманного «опыта отражения некоторых не-литературных обвинений» (1830), он в одном параграфе соединяет пункты «об литературной аристократии» и «о дворянстве». Неоконченный памфлет «Литературное общество» (1829) должен был высмеять журнал «Азиатский Рак» (конечно, «Вестник Европы». В числе сотрудников значился Никодим Невеждин (т. е. Никодим Надоумко, Надеждин), «из сословия слуг, скромный молодой человек, оказавший недавно отличные успехи в словесности и, несмотря на лакейский тон своих спатеек, обещающий быть законодателем вкуса». Еще в «Отрывке из литературных летописей» (1829) иронически был отмечен «почтенный сотрудник Коченовского, г. Надоумка, «один из великих писателей, приносящих истинную честь и своему веку, и журналу, в коем они участвуют». С Надеждиным Пушкин встретился у Погодина и записал: «Он показался мне весьма простонародным, vulgar, скучен, заносчив и без всякого приличия. Например, он поднял платок, мною уроненный. Критики его были очень глупо написаны, но с живостью, а иногда и с красноречием. В них не было мыслей, не было движенья; шутки были плоски». Своей критикой «Графа Нулина» и филиппиками против «сонмища нигилистов» Надеждин оправдывал эпот отзвв о нем. Пушкин видел в нем нечто вульгарное, vulgar, противоположное *comme il faut* (ср. в «Евгении Онегине»). Надеждин — невоспитанный

семинарист (вспомним и отзыв о семинаристе Сперанском). В «Азиатском Раке» — иронизирует Пушкин, — будут помещаться «стихи молодых семинаристов». На организационном собрании сотрудников, кроме того, «все с удовольствием слушали милые проказы маленького купчика, погда уже столь много обещавшего». Явный выпад против Полевого.

Семинаристы (как Надеждин), купчики (как Полевой) и «чиновные журналисты» (как Булгарин с Гречем) — всё это представители демократической группы. Пушкин смотрит на них сверху вниз. Демократизм их происхождения влечет за собой недостаточную культурность. Это — люди более низкой культуры, чем сам Пушкин. Здесь скрывается впрочем весьма существенный мотив, которым определяется отношение Пушкина к писателям-«демократам». Сотрудники «Литературной газеты», — писал Пушкин, — «стараятся сохранить тон хорошего общества, проповедают сей тон и другим собратьям, но проповедают в пустыне». Пушкин строго различал понятия хорошего и высшего общества. В заметке по поводу «Графа Нулина» есть целый трактат на эту тему. Высшее общество (*high life*) — светское общество; хорошее общество (*bonne société*) «может существовать и не в одном кругу, а везде, где есть люди честные, умные и образованные»<sup>1</sup>. Весьма показателен взгляд Пушкина на Полевого. Он ценит последнего и как журналиста<sup>2</sup> и

<sup>1</sup> Незнание «приличий» само по себе, по мнению Пушкина, еще не особенный грех. Ученому человеку, — говорит он в одной заметке, — некогда «являться в общество и приобретать навык к суетной образованности, подобно праздному жителю большого света». «Простодушная грубость» — простительна. «Педантизм имеет свою хорошую сторону. Он только тогда смешен и отвратителен, когда мелкомыслие и невежество выражаются его языком».

<sup>2</sup> 2 авг. 1825 г. он писал Полевому: «Радуюсь, что стихи мои могут пригодиться вашему журналу (конечно, лучшему из всех наших журналов). В 1834 г. вместе с Жуковским Пушкин, однако, будет радоваться закрытию «М. Телеграфа», проповедывавшего «якобинизм перед носом правительствия» (Дневник под 7 апр. 1834).

даже как автора «Истории русского народа», непрочь был печататься в его «Московском Телеграфе», но быть постоянным сотрудником отказывался, ибо, — писал он Вяземскому в июле 1825 г., — «Телеграф человек порядочный и честный — но враль и невежда; а вранье и невежество журнала делится между его издателями; в часть эту входит не намерен». Быть высокого мнения о культуре и образованности Булгарина у Пушкина не было особых оснований.

В-третьих, некультурность «демократов» выражается в низких свойствах их души. Это — хуже всего. Полевой и тут выше других. «Будем справедливы, — говорится в одной заметке 1830 г., — г-на Полевого нельзя упрекнуть в низком подбострастии пред знатными; напротив, мы готовы обвинить его в юношеской заносчивости, не уважающей ни леп, ни звания, ни славы и оскорбляющей равно память мертвых и отношения к живым». Расстояние между собой и Полевым Пушкин создал как разницу между высокой культурой и полупросвещением. А между Пушкиным и Булгариным лежало огромное расстояние, как между высокой честью и низкой подлостью. Еще в 1824 г. Пушкин отнес Фаддея Булгарина к «сволочи нашей литературы» (в письме к Л. С. Пушкину от 13 июня 1824)<sup>1</sup>. Здесь более, чем «незнание приличий» («чувство приличия зависит от воспитания и других обстоятельств»): здесь — подлость и цинизм. Из «уважения к самому себе» и из уважения к достоинству писателя Пушкин не хотел иметь дело с этими доносчиками и сыщиками (Видоками), «полицейскими», с этими «Бесстыдными», «журнальными балагурами», которые роняют «честное звание литератора»; их «фиглярство и недобросовестность унижают почтенное звание литераторов».

Конфликт Пушкина с булгаринской группой был неизбежен. Он назревал давно. «Г. чиновные журналисты, — напоминает Пушкин, как было дело, — вздумали было на-

<sup>1</sup> В Письме к нему же от ноября 1824 г.: «Что наши литературные паны и что сволочь?»

пасть на одного из своих собратиев<sup>1</sup> за то, что он не дворянин. Другие литераторы позволили себе посмеяться над неперпимостью дворян-журналистов. Осмелились спросить: кто сии феодальные бароны, сии незнакомые рыцари, гордо пребующие гербов и грамот от смиренной брапии нашей?» А те, помолчав немного, накинудись на «литературных аристократов». Пушкин был главной мишенью. Его «аристократизм», к тому же открыто и гордо декларируемый, давал, повидимому, благодарный повод: смеялись над аристократическими замашками того, чьим предком в сущности является какой-то арап, купленный шкипером за бутылку рома; поэт-де не более, как мещанин в дворянстве («Сев. Пчела», 1830, № 94). Пушкин поднял перчатку. «Что за аристократическая гордость,— писал он (в заметке 1830 г.),— дозволять всякому негодю швырять в нас грязью». Защищать свое достоинство приходится на оба фронта: против знами и против «демократов». Полемика в защиту своей чести будет действовать поднятию «уважения к личной чести гражданина» и чистоты общественных нравов. Такова уж историческая судьба русской интеллигенции. «Дружина ученых и писателей,—многозначительно говорит Пушкин (в той же заметке),—казалось бы, стоит всегда впереди во всех набегах просвещения, на всех приступах образованности. Не должно им малодушно негодовать на то, что вечно им определено выносить первые выстрелы и все невзгоды, все опасности ремесла». И Пушкин грудью отстаивал свое достоинство как личности и как писателя.

Дело серьезное,—припугнул он своих обидчиков: не забудем, что сатирические выходы демократических писателей XVIII в. подготовили крики черни: «les aristocrates à la lanterne!» Хотя, конечно, есть огромная разница между французскими и нашими демократами.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Именно на Полевого.

<sup>2</sup> Выкрики черни в глазах Пушкина еще не характеризуют всей французской революции: это — «один жалкий эпизод», «гадкая фарса в огромной драме».

Враги заподозрили аристократизм Пушкина: он ответил остроумным рассуждением в стихах о своем «мещанстве» и в прозе доказал, что его враги — чистейшие лакеи, которые издеваются над его происхождением потому, что его дворянский род уже не имеет реальной силы, и пресмыкаются перед новой знатью, очутившейся у власти по капризу исторической судьбы. Да, он — «не аристократ», с новой знатью не яхшается, но его предок-арап попал в руки к тому славному шкиперу, «кем наша двинулась земля, кто придал мощно бег державный корме родного корабля»; этот «арап Петра Великого» был «царю наперсник, а не раб». «Водились Пушкины с царями, из них был славен не один», но «суровый» род Пушкиных никогда не действовал пропив совести и чести. Решил Видок Фиглярин, что Пушкин — «во дворянстве — мещанин», а сам он, очевидно, — «в Мещанской дворянин». В прозаической заметке 1830 г. Пушкин с благородным негодованием дал отповедь «выходцу», который позволяет себе «марать грязью священные страницы наших летописей». Защищая свой род от наглого поругания «одной газеты, почти официальной», и вместе с тем выдвигая заслуги старинного, просвещенного дворянства, Пушкин охотно готов причислить себя к «мещанам-писателям». Низость болгарских нападок особенно оптеняется тем, что они направлены «не на новое дворянство, по большей части составляющее нашу знать, истинную, богатую, могущественную аристократию (*pas si bête!*)» — Булгарины не так глупы! — «Наши журналисты перед этим дворянством вежливы до крайности». Нет, они нападают «именно на старинное дворянство», потому что оно политически бессильно, и забывают, что это дворянство превратилось в «род среднего состояния, состояния почтенного, трудолюбивого и просвещенного», что отсюда выходят трудовая интеллигенция и большая часть русских писателей.

Лакеи господствующей знати, Булгарины, взразились от нее «аристократической» спесью: не они ли, эти «чиновные журналисты», кичатся какими-то своими гербами?

не они ли попрекали Полевого купеческим происхождением и винным заводом («пяпном ужасным, как известно, всему нашему дворянству!» — иронически замечает Пушкин)? не они ли непрошенно берут на себя роль «опекунов высшего общества» и защитников аристократизма? не они ли «поминутно находят одно выражение бурлацким, другое — мужицким, третье — неприличным для дамских ушей и т. п.» не они ли, как горничные и камердинеры, «спараются подделаться под светский тон» (на эту тему Пушкин много распространяется также в заметке по поводу «Графа Нулина»)?

А те, кого Булгарины иронически зовут аристократами, в сущности и не думают «величаться своим дворянским званием». «Никогда не видал я в «Литературной газете» ни дворянской спеси, ни гонения на другие сословия,—говорит Б. («Разговор», 1830):—Дворяне ли барон Дельвиг, князь Вяземский, Пушкин, Борабьинский и пр.,—мне до этого дела нет. Они об этом не толкуют». А если и толкуют (как Пушкин), то не с тем, чтобы унижать другие сословия. «Заступаясь за грамотное купечество в лице г. Полевого, они сделали хорошо;<sup>1</sup> заступаясь ныне за просвещенное дворянство, они сделали еще лучше». «Позволяется и нужно нападать на пороки и слабости каждого сословия, но смеяться над сословием потому только, что оно такое-то сословие, а не другое — нехорошо и непозволительно». «Литературная газета», во всяком случае, вооружилась против смешного чванства и заставила «чиновных литераторов уважать братьев-мещан». Взглянув на дело с обычной широтой исторического понимания, Пушкин в 1834 г. высказывает замечательное суждение: «Даже теперь наши писатели, не принадлежащие к дворянскому сословию, весьма малочисленны. Несмотря на то, их деятельность овладела всеми отраслями литературы, у нас существующими. Это есть важный признак и непременно будет иметь важные последствия».

<sup>1</sup> Пушкин сделал это в «Отрывке из литературных летописей» (1829), возражая редактору «Вестника Европы», Каченовскому

Можно сказать, Пушкин приветствует грядущего разночинца. И во всяком случае верно констатирует факт. Прежде чем окончательно занять аванпосты культуры, разночинец уже давно действовал в литературе. Фактически в пушкинскую эпоху главным деятелем, по крайней мере, журналистики был уже разночинец, часто, впрочем, в союзе с инородцем (Каченовский, Надеждин, Белинский, Полевой, Погодин, Никитенко и др. рядом с Гречем, Булгариным и Сенковским). Замечательно при этом то, что, когда дворянская группа, «литературные аристократы», в том числе и Пушкин, приступала к осуществлению своих журнальных планов, она искала рабочей силы в тех же разночинских рядах (вспомним, напр., появление Погодина в качестве редактора «Московского Вестника»). Однажды Пушкин не прочь был воспользоваться услугами Греча. Известно, как часто Пушкин и его друзья жаловались, что у них плохо ладятся журнальные дела и попрекали друг друга за бездеятельность. Литература, по признанию Пушкина, стала ремеслом, честной отраслью промышленности и торговли. Потребовался профессиональный работник печати.

Дворянский класс не мог сохранить наследственной чистоты своего состава. Тем более писательскому классу не было смысла держаться за сословно-классовые привилегии. Личное достоинство выше всяких классово-сословных преимуществ. И в данном случае высшим мерилom для писателя служит его личное значение. В «Отрывке из литературных летописей» (1829) читаем: «Никто более нашего не уважает истинного, родового дворянства, коего существование столь важно в смысле государственном; но в мирной республике наук какое нам дело до гербов и пыльных грамот? Потомок Трувора или Госпомысла, трудолюбивый профессор, честный аудитор и странствующий купец равны перед законами криптики».

В мирной республике наук и литературы Пушкин хотел бы видеть особую оценку людей, определяемую талантом и характером творчества каждого. Писатель,— и это



важнее всего,— должен быть на высоте своего призвания, на страже своей чести. Социально-экономическая ситуация сложилась так, что литература стала отраслью промышленности, и что класс писателей находится в зависимости от господствующего класса новой аристократии. Но писатель должен торговать рукописью, а не вдохновением и не совестью. Пресмыкательство перед сильными унижает писателя. Честность творчества и личная честь писателя—краеугольные камни, на которых покоится достоинство литературы как свободного искусства. Такою именно мыслил ее Пушкин в условиях своей эпохи. Всю жизнь отстаивал он свою «независимость», свое право «идти дорогою свободной, куда влечет свободный ум»:

Исполнен мыслями златыми,  
Непонимаемый никем,  
Перед кумирами земными  
Проходишь ты уныл и нем.  
.....  
Идешь, куда тебя влекут  
Мечтанья тайные. Твой труд  
Тебе награда: им ты дышешь,  
А плод его бросаешь ты  
Толпе, рабыне суеты.

Последние три—четыре года внутренней жизни Пушкина отмечены печатью высокого и величавого спокойствия. То был уже период «Памятника»<sup>1</sup>.

## IX

Рассмотренный мною процесс классового самоопределения Пушкина не мог не найти себе всестороннего выражения в его художественном творчестве.

Выше мне приходилось пользоваться некоторыми произведениями поэта, но я делал это лишь в тех немногих случаях, когда авторские высказывания слишком явно выступали на передний план и содержали в себе насто-

<sup>1</sup> Ср. мою статью «Памятник нерукотворный» в первом сборнике Пушкинской комиссии.

ящие идеологические формулы. Творчество Пушкина — глубоко реально и жизненно. Мы заранее ждем, что все переживания, связанные с сложным процессом его исторических размышлений и классового самоопределения, отразятся по полноте, по часпично в отдельных его произведениях.

Русская история есть история усвоения европейской культуры, которая со времени Петра становится русской культурой. Ее ценность — непререкаема. Вопрос лишь в том, как использовать ее или, говоря иными словами, как понимать нормальный ход исторического процесса.

Пушкин превосходил славянофилов и Достоевского, изобразив таких беспочвенных дворян, как Карицкий и Корсаков в «Арапе Петра В.», как Онегин и особенно граф Нулин. Последняя фигура — более значительна, чем можно думать по «легкомысленному» сюжету этого стихотворного рассказа. К. Аксакову, когда он рисовал своего «цивилизованного» князя Луповицкого, приходилось только развивать черты графа Нулина, который, вернувшись «из чужих краев, где промотал он в вихре моды свои грядущие доходы», «святую Русь бранит, дивится, как можно жить в ее снегах, жалеет о Париже спрах». Это писалось в 1825 г.

Сделавшись органической частью исторического бытия русского дворянства, европейская культура не может быть отброшена в угоду преходящим настроениям и квасному патриотизму. В «Рославле» (1831), написанном к качеству корректива к одноименному роману Загоскина, Пушкин описал поверхностный патриотизм дворян и в лице Полины показал истинное отношение к культуре<sup>1</sup>.

Культурный историзм служит критерием для художника Пушкина, когда он предметом творчества делает проблемы классового самоопределения.

<sup>1</sup> В одной заметке Пушкин высмеивает тех, которые «почитают себя патриотами потому, что любят ботвинью и что дети их бегают в красной рубашке».

Мотивы, вытекавшие из личной родословной Пушкина, которой, как мы знаем, он придавал принципиальную важность, не только послужили содержанием «Моей родословной», но и должны были лечь в основу поэмы «Родословная моего героя» (1833). У чипапеля нет ни малейшего сомнения в том, что Езерского поэт наделил своей родословной и своей психологией; да он и не удержался от того, чтобы в «лирических отступлениях» не повторить своих излюбленных мыслей об уважении к истории дворянских родов, о заслугах старинного дворянства, об его упадке и об отношении к новой знати. Если другим безразлично, кто был их родоначальник («Мстислав, князь Курбский или Ермак, или Митюшка-цаловальник»), то это потому, что они гордятся «красою собственных заслуг, звездой двоюродного дяди или приглашением на бал» туда, где дед их не бывал. Это — пресмыкающиеся дворяне. Езерский — из родовитых, но захудалых дворян: живет он жалованьем и не более, как коллежский регистратор (чин самого Пушкина). Герой с таким социальным положением особенно близок Пушкину, и он берет его под свою принципиальную защиту от тех криптиков, которые найдут Езерского незавидным героем и потребуют от поэта более возвышенного предмета, т. е. героя в чинах и с весом в обществе.

Известна генетическая связь между Езерским и Евгением «Медного Всадника» (1833). Евгений — также «родов униженных обломок»: в минувшие времена его фамилия в родных преданиях звучала, но ныне светом и молвой забыта; он — беден, «дичится знатных», служит и должен прудом доставлять себе «и независимость и честь». В Петре Евгений может видеть своего врага, прежде всего потому, что вина за последствия наводнения лежит на том, «чьей волей роковой над морем город основался», а также и потому, что, как мы знаем, именно с Петра, с его пабелю о рангах, начинается унижение родовитого боярства. В конце концов, сам поэт примиряется с этим фактом: историзм брал верх: «государственная польза»

пробовала возвышать «достоинство» и неродовитых людей. Главное же то, что государственное дело Петра — неизмеримо велико: ведь он насаждал ту культуру, которая выросла самого поэта. Поэтому безумен гнев Евгения против «мощного властителя судьбы», и не проклятия шлет царю поэт, а в торжественном вступлении воспекает его исторический подвиг. «Красуйся, град Петров, и стой неколебимо, как Россия!»<sup>1</sup> «Медный Всадник» как бы разрешает внутреннюю борьбу поэта, служит своего рода идеологическим катарсисом и стоит в преддверии последнего периода его жизни<sup>2</sup>.

Велика честь служить делу Петра, и Пушкин гордится своим предком арапом Петра Великого. Историческая повесть о Петре (1827) была задумана как из общего интереса к крупному историческому явлению, так и по связи с размышлениями о судьбах дворянства.

История дворянского класса дала сюжеты нескольким произведениям Пушкина.

Борьба боярских родов (после отмены местничества), в которой деятельное участие принимают «мятежные»

<sup>1</sup> Смысл повести «Медный Всадник», очевидно, может быть раскрыт лишь в свете взглядов поэта на Петра. Важно сравнить с нею, напр. то, что говорится в материалах к истории Петра (1832—1834): Пушкин различает общее значение петровских реформ и его частные указы, цель преобразований и средства, примененные царем.

<sup>2</sup> В Пушкинской комиссии О. Л. Р. Сл. (в марте текущего года) Д. Д. Благой прочитал доклад (см. «Миф Пушкина о декабристах» в «Печ. и Рев.», 1926. кн. 4 и 5), в котором доказывал, что «М. Всадник» есть символическая картина восстания декабристов, т. е. широко развернул ту мысль, которая звучит в словах Н. Л. Бродского: «замысел «Медного Всадника» (1832) стоял в связи с декабрьским восстанием» (статья «Декабристы в русской художественной литературе» — в журн. «Каторга и ссылка», 1925, № 8, стр. 192). В символической интерпретации поэмы Пушкина Д. Д. Благому, однако, не удалось вполне согласовать между собою образы Петра, наводнения и Евгения. Как далеко можно заходить в символических толкованиях, показывает пример Л. Н. Войтоловского, который в «Египетских Ночах» видит символическую картину того же декабрьского восстания («История русской литературы XIX и XX веков», ч. I, 1926).

и «непокорные» Пушкины, послужила одним из существенных компонентов для «Бориса Годунова» (1825). В «Арапе Петра В.» (1827) видим следующую стадию в истории дворянства: преобразователь, старое боярство и новое дворянство. «Капитанская дочка» (1834—1836) изображает дворянство в екатерининскую эпоху, в условиях страшной для него пугачевщины, причем поэт продемонстрировал непричастность крестьянства к бунту. Исторические события разворачиваются на фоне провинциальной дворянской жизни. Гриневы — люди долга и чести, те дворяне, которым Пушкин особенно симпатизирует. Повесть, непосредственно примыкающая к «Истории пугачевского бунта», носит дворянскую окраску и в целом и в частности. Один из шедевров Пушкина, «История села Горюхина», есть, вместе с тем, эпизод из истории «знаменитого рода Белкиных», чьи имения «раздробились и пришли в упадок».

К тому же циклу «дворянских» сюжетов можно отнести и «Скупого рыцаря» (1830): в состав его идеологии входит также идея дворянской чести, — в форме коллизии между скупостью отца и честью молодого рыцаря (есть некоторая аналогия с отношением Пушкина к отцу).

У Пушкина нет ни одного великосветского романа, ни одной великосветской повести, т. е. произведений, исключительно посвященных данной социальной среде. Это очень характерно для него: Пушкин был дворянским, но не великосветским писателем. Зато он не упускал отдельных случаев изображать людей высшего общества и делал это всегда в тех самых красках, какими пользовался еще в лицейских стихотворениях. Попутные картинки и портреты (как, напр., в «Пиковой даме») зарисованы с острой экспрессией и полны социальной значительности. Главный творческий интерес Пушкина сосредоточивается на жизни среднего дворянства.

Расслоение дворянства, социальный конфликт внутри класса между отдельными группами, — эти факты послужили основой сюжета для «Дубровского» (1832) и для нескольких задуманных, к сожалению, неоконченных романов.

Старинные, но бедные дворяне Дубровские отстаивают свою независимость и честь от знатного, богатого и гордого Троекурова, который — к слову сказать — был человеком невежественным: хотя у него и была огромная библиотека, но он ничего не читал, кроме «Современной поварихи». В окружении Троекурова — кн. Верейский, «старый волокита», да Антон Пафнутович Спицын, рагвену. Дворянское *point d'honneur* вырождается у Троекурова в гонор, в барское высокомерие, а у Дубровского это — подлинная честь. Симпатии автора на стороне Дубровских. Как Гриневыми, так и Дубровскими мужики вполне довольны и рабски преданы им (Троекуровым только гордятся); молодой Дубровский именует их своими «детьми», но, конечно, держится как настоящий помещик. «Барин» остается он и среди разбойников, которых величает просто «мошенниками». Разбойничьи народные песни относятся к своим героям существенно иначе.

«Роман в письмах» (1829—1830), «Гости съезжались на дачу» (1831—1832), «В Коломне на углу маленькой площади» (1831), «Русский Пелам» — все эти начатые и неоконченные произведения, повидимому, задуманы с целью изобразить жизнь различных слоев дворянства в их столкновении. Везде большой свет, аристократия и среднее дворянство, как социальная антитеза. В набросках двух первых произведений автор использовал заметки о дворянстве, повторив здесь свои мысли нередко с буквальной точностью. Когда странствующий испанец заговорил со своим русским собеседником о высшем обществе, разговор принял «самое сатирическое направление» («Гости съезжались»). В наброске «В Коломне на углу маленькой площади» автору понадобились рассуждения о «светских аристократах» и о рагвену (жена князя Григория — дочь цаловальника). Действие «Романа в письмах» происходит в деревне, хотя главные герои (Владимир Z\* и Лиза) — люди столичные. Их роман представляет социальный интерес: Владимир — культурный представитель новой аристократии, а Лиза — бедная представительница старинного рода,

«смирненная мещанка», живущая у богатых родственников на положении воспитанницы<sup>1</sup>. Владимир — идеолог дворянских и помещичьих принципов в духе самого Пушкина. Столица и деревня сравниваются к невыгоде первой. Владимир переродился в деревне. Прекрасно чувствует себя и Лиза в деревне у бабушки (неп роскоши, но неп и унижения: «Живу дома и хозяйкою»). А рядом с ней деревенская красавица Машенька, премилое создание. Ее оценила и Лиза. «Теперь я понимаю, — пишет она, — почему Вяземский и Пушкин так любят уездных барышень: оне их истинная публика». Уездные барышни, действительно, пользуются неизменными симпатиями поэта, который не упускает случая сравнивать их с холодно-чопорными светскими красавицами. В «Барышне-крестьянке» (1830) находим целую лирическую пираду во славу уездных барышень, хотя и окрашенную легким юмором («что за прелесть эти уездные барышни!»: в них «чувства и страсти, неизвестные рассеянным нашим красавицам»; их существенное достоинство — «особенность характера, самобытность (individualité), без чего, по мнению Жан-Поля, не существует и человеческого величия»). Не забудем, что круг уездных барышень возглавляет сама Татьяна Ларина. Да не на «уездной ли барышне» и женился Пушкин?

«Русский Пелам» (1835) обещал необыкновенно широкую картину дворянской жизни, столичной и усадебной. Программа содержит интригующие пункты.

К величайшему сожалению чипателей, «Роман в письмах» и «Русский Пелам» остались неоконченными. По замыслу они могли стать рядом с «Евгением Онегиным».

«Евгений Онегин» — усадебный роман в самом почном значении этого слова. Здесь поэт — в родной стихии.

<sup>1</sup> Институт воспитанниц — типичное явление для данной социальной среды. «Родов униженных обломки» — мужчины должны служить и вообще трудиться, девушки попадают в воспитанницы. У Лизы «Романа в письмах» есть pendant в лице Лизаветы Ивановны при графине («Пиковая дама»). Писатели не раз уделяли внимание этому сюжету. См., напр., в произведениях В. Ф. Одоевского (ср. в моей книге о нем).

Столицы — роскошный придаток к деревне. Нигде подсознательная психология Пушкина не сказалась с такой непрерываемой выразительностью, как именно в «Евгении Онегине». Там и сям звонким «онегинским» стихом набрасывает Пушкин контрастные картины «черни светской», большого света с его «мертвящим упоением», с «бездушными гордецами», «блистательными глупцами» и п. д. В столичной госпоиной всех занимает «такой бессвязный, пошлый вздор,.. не улыбнется помный ум, не дрогнет сердце, хоть для шутки. И даже глупости смешной в тебе не встретишь, свет пустой!» Тамьяне, свежей деревенской девушке, «душно здесь... она мечтой спремится к жизни полевой, в деревню, к бедным поселянам». Ставши княгиней, она сохраняет те же симпатичные поэту влечения души. Самая светскость приняла в ней облагороженные черты: «Всё тихо, просто было в ней. Она казалась верный снимок du comte il faut. С головы до ног никто бы в ней найпи не мог того, что модой самовластной в высоком лондонском кругу зовется vulgar. Кокетства в ней ни капли нет — его не перпит высший свет». Именно так представлял себе Пушкин лучшие стороны «света» в те редкие минуты, когда ему случалось сказать о нем доброе слово. Владимир З\* находил в Лизе «много увлекательного» («Роман в письмах»). Подобно Тамьяне-княгине, она соединяла в себе хорошую светскость с качествами уездной барышни: «Эта тихая<sup>1</sup>, благородная стройность в обращении — главная прелесть высшего петербургского общества — а между тем, — что-то живое, снисходительное, добродное (как говорит ее бабушка), ничего резкого, жесткого в ее суждениях». Тамьяна и Лиза, видимо, удовлетворяют требовательному вкусу самого поэта.

Вокруг «Евгения Онегина» тесным кольцом располагается ряд других произведений, проникнутых усадебным настроением или обвеянных поэзией простого русского быта. Пушкину хотелось попросту, без писательских за-

<sup>1</sup> Ср. выше о Тамьяне: «Всё тихо, просто было в ней».



тей, взглянуть на жизнь скромных людей, так сказать их же собственными глазами — глазами Белкиных (повести Белкина; историк села Горюхина также из рода Белкиных). Поэт чувствует теперь особое наслаждение в том, чтобы в благодушном тоне или с теплым юмором рассказывать «преданья русского семейства да нравы нашей старины» или излагать в особо сплюсванной манере историю села Горюхина, или в шушливом повествовании передавать несложные события, происходившие в каком-нибудь домике в Коломне, а не то в усадьбе Натальи Павловны («Граф Нулин»). При этом в последних двух произведениях нашлось место для излюбленной антитезы: Параша и надменная, хотя и несчастная графиня; деревенская помещица и влиятельный граф.

Не обошел наш художник и междуклассовых отношений. Острая борьба классов показана в «Сценах из рыцарских времен» (1835). Типичная картина из эпохи европейского феодализма, когда противостоят друг другу рыцари (дворяне) и бюргеры (мещане). Классовые противоречия вызывают драму в душе молодого бюргера-поэта. Оскорбленный Франц, как Дубровский, делается разбойником. Сюжет дал возможность автору осветить проблемы чести и независимости, а также социальное положение певца, т. е. тембы, которые глубоко переживал сам Пушкин. На фоне пугачевского бунта разворачивается действие «Капитанской дочери» (1834—1836). Трактовка событий остается той же дворянско-классовой, что и в «Истории пугачевского бунта». Не только Гринев и Савельич называют пугачевцев злодеями, но и сам Пугачев именует своих сообщников ворами и пьяницами (как Дубровский свою шайку). Мужики примкнули к движению по недоразумению. «Бунт их был — заблуждение, мгновенное пьянство, а не изъявление их негодования»; поэтому они быстро явились с повинной и, как ни в чем не бывало, пошли на барщину. Народный бунт в России — всегда «бессмысленный и беспощадный». «Те, которые замышляют у нас невозможные перевороты, или молодцы и не знают нашего народа, или уж люди

жестокосердые, которым и своя шейка — копейка и чужая головушка — полушка»<sup>1</sup>. Из классового неравенства возникают драматические коллизии (конечно, разной степени напряженности) в сюжетном построении «Русалки» (1832) «Станционного смотрителя» (1830) и «Метели» (1830). Известно, что Маша Троекурова, воспитанная «в аристократических предрассудках», долго не обращала внимания на молодого учителя-француза, т. е. на Дубровского, и Алексею Берестову, принимавшему переодетую барышню за крестьянку, стоило немалого труда преодолеть подобные же «предрассудки», т. е. полюбить мнимую Акулину, несмотря на «расстояние, существующее между ним и бедной крестьянкою».

## Х

Итак, Пушкин отчетливо сознавал, что он живет в классовом обществе. О бесклассовом государстве он не имел понятия; по крайней мере, не помышлял о нем. Себя Пушкин мыслил русским дворянином и дорожил своей принадлежностью к той дворянской группе, которая создавала русскую культуру, и из которой выходила большая часть русских писателей. У Пушкина не было оснований предпочитать дворянству какой-нибудь другой класс. Называя себя «мещанином», он говорил всё о том же среднем дворянстве, которое «составило род претъего сословия». По своему культурному значению в прошлом и в настоящем среднее дворянство стояло выше всех других. Социальное положение среднего дворянина и помещика давало писателю возможность быть в непосредственном соприкосновении с почвенной жизнью России, с ее бытом, народом и землей. Пушкин не чувствовал потребности служить чужому классу. Он полагал, что, служа культурным интересам своего класса, он служит и крестьянству, и разночинству, и всему народу русскому. Чувство дворянской чести соединялось в нем с сознанием своей куль-

<sup>1</sup> Впрочем, приведенные цитаты в окончательной редакции повести отсутствуют.

турной миссии. Самое стремление Пушкина к классовому осознанию своей личности—глубоко симптоматично: в этом акте он выступал подлинным идеологом класса, который, в результате, по крайней мере, столетнего процесса своего развития, социально-политически сложился в определенные формы и стал вполне классом *an und für sich*. Устами Пушкина говорила мыслившая часть дворянства, говорили носители его культуры. Развитие этой культуры пережило свой знаменательный процесс: брожение, длившееся также более столетия, переработало все ингредиенты, приходившие большей частью со стороны, и получило известную кристаллизацию. Класс, сложившийся социально-политически, имел уже зрелую культуру, которая к сороковым годам достигает своего расцвета. Настал момент как раз для социально-политического и общекультурного самовыявления. Пушкин почувствовал это, может быть, острее, чем другие идеологи класса (эта большая острота обуславливалась как гениальностью его натуры, так и индивидуальными особенностями его классовой жизни), и громко заявил о своей солидарности с классом, с его историческим и культурным назначением.

Процесс литературной эволюции был предугадан тем же ходом культурной жизни. Литература, т. е. ее верхи, складывалась в процессе усвоения разных элементов европейского творчества (классицизма, сентиментализма, романтизма с его разветвлениями). Процесс должен был завершиться синтезом, т. е. созданием самобытных форм творчества, крепко связанных с грунтовыми слоями культуры. Эту историческую задачу выполнил Пушкин как писатель. Самоопределение русской литературы за огромный период ее существования совершилось также через него.

Пушкин жил буквально в родной стихии, там, где родился. Отсюда—душевное равновесие, светлое приятие жизни, органичность и гармоничность творчества. Только бы деспотическая власть, спесивая знать и гнусные холопы не отравляли поэту существования. Оставаясь в пределах

своей классовой группы, Пушкин хотел наилучшим образом творить, т. е. творить спокойно и свободно.

...Никому

Отчета не давать; себе лишь самому  
Служить и угождать; для власти, для ливреи  
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи.

Субъективно поэт считал себя свободным от классового детерминизма. «...От кого бы я ни происходил,— от разночинцев, вышедших в дворяне, или от одного из самых старинных русских родов, от предков, коих имя встречается почти на каждой странице истории нашей,— писал он (в заметках о «Борисе Годунове», 1827—1831),— образ мыслей моих от этого никак бы не зависел».

В понимании исторического процесса Пушкин вообще не допускал абсолютного детерминизма. По поводу «Истории» Полевого он писал (1830): «Не говорите: иначе нельзя было быть. Коли было бы это правда, то историк был бы астроном, и события жизни человеческой были бы предсказаны в календарях, как затмения солнечные. Но провидение — не алгебра; ум человеческий, по международному выражению — не пророк, а угадчик. Он видит общий ход вещей и может выводить из одного глубокие предположения, часто оправданные временем, но невозможно предвидеть ему случая. Один из остроумных людей XVIII столетия предсказал камеру депутатов, но никто не мог предсказать ни Наполеона, ни Полиньяка».

Развитие поэзии, по мнению Пушкина, в значительной степени совершается автономно. В заметке о VII главе «Евгения Онегина» мы читаем такие рассуждения: «Век может идти себе вперед, и науки, философия и гражданственность могут усовершенствоваться и изменяться, но поэзия остается на одном месте, цель ее одна, средства те же... Произведения великих поэтов остаются свежи и вечно юны — и между тем как великие представители старинной астрономии, физики, медицины и философии один за другими стареют и один другому усту-

пают место, одна поэзия остается на своем неподвижно и никогда не теряет своей младости».

В этих словах есть своя доля истины: устаревшие идеи науки становятся ложью, а образы, созданные поэтом, даже старея, сохраняют художественную привлекательность, как образы Гомера, Эсхила, Данте и Шекспира. Вечной молодости, однако, нет ни у кого, и поэзия не остается на своем месте.

«Образ мыслей» Пушкина и его творчество носят на себе печать класса и эпохи. Сам поэт чувствовал и сознавал свою кровную связь с данной исторической средой. Он — не пришлец, случайно приспособляющийся к новой среде, а гениальное завершение длительного процесса в истории дворянской культуры и в истории русской литературы.

Разночинец Белинский в сороковых годах с осуждением отнесся к классовым тенденциям поэта, поскольку они выразились в «Родословной моего героя». Критик видел в поэте защитника дворянской спеси и доказывал, что всякая спесь есть «признак грубости нравов и невежества», и что «не происхождение, а жизнь приносит человеку честь или бесчестье». Стих Пушкина, «что проста из бар мы лезем в tiers-état», Белинский комментирует указанием на то, что дворянство превращается в буржуазию, и хорошо делает: «барство поддерживается, прежде всего, деньгами... Тут видна скорее сметливость и догадливость, нежели простота. Фабрики, компании, акции, спекуляции, предприятия, обороты, — всё это вещи, может быть, действительно не аристократические, зато уже и совсем не простоватые»... Вместо юмористической повести, каковой является «Родословная», критик советовал поэту «написать дидактическую поэму о пользе свеклосахарных заводов или о превосходстве плодопеременной системы земледелия над трехпольной». В этом пункте Белинский плохо понял Пушкина, но зато гениальный критик превосходно понял социологические основы пушкинской поэзии. Определенно заявил он, что «муза Пушкина это — девушка»

аристократка, в которой обольстительная красота и грациозность непосредственности сочетались с изяществом пона и благородною простотою, и в которой прекрасные внутренние качества развиты и еще более возвышены виртуозностью формы, до того усвоенной ею, что эта форма сделалась ей второй природой». В «Евгении Онегине» личность поэта отразилась особенно полно и ярко: «Везде видите вы в нем человека, душою и телом принадлежащего к основному принципу, составляющему сущность изображаемого им 'класса; короче, везде видите русского помещика... Он нападает в этом классе на всё, что противоречит гуманности; но принцип класса для него — вечная истина». «Он (Пушкин) любил сословие, в котором почти исключительно выразился прогресс русского общества, и к которому принадлежал сам». Белинский не только констатировал факт, но и верно объяснил его. История русского общества, со времен Петра Великого, убеждает критика, «что класс дворянства был и по преимуществу представителем общества, и по преимуществу непосредственным источником образования всего общества», что среднее дворянство — «во всех отношениях лучшее сословие», и что во времена Пушкина дворянство находилось «в апогее своего развития». Оттого Белинский не боится сказать, что «Онегин» является «в высшей степени народным произведением», а сам Пушкин — «более национально-русский поэт, нежели кто-либо из его предшественников»... «Как поэта, Пушкина узнала вся Россия и теперь гордится им, как сыном, делающим честь своей матери».

Марксист Плеханов — и в этом действительное достоинство «научной критики» — не разделяет упреков Белинского по адресу поэта за его аристократические пристрастия. Данный вопрос, — говорит он, — гораздо сложнее, чем это думал Белинский. В этих пристрастиях было не одно подражание Байрону и вообще аристократическим писателям Западной Европы. Нет, в них было очень много своего, русского». Ведь Молчалины, пресмыкавшиеся перед всяким

чиновным баринoм, сами могли дойти «до степеней известных» и возомнить себя большими аристократами. «Мы вообще,—пишет Плеханов,—не сочувствуем аристократическим пенденциям, но, право же, самозванный аристократизм чиновных *parvenus* гораздо несноснее аристократизма родовитого дворянина». Приходится наблюдать и такое явление, что Молчалины, еще не успев сделаться совсем большими барями, проявляют «свою новорожденную спесь особым родом демократизма, отражающегося в беззубых выходках против людей знатной породы,—конечно, в том только случае, если эти люди далеки от власти. Такой демократизм близок к фальшивому демократизму разбогатевшего буржуа, который из зависти нападает на аристократию, мечтая в то же время о том, как бы приспособить за князя или хотя бы барона свою буржуазную дочку. Пушкину не раз приходилось сталкиваться с жалким и гнусным демократизмом молчалинского пошиба, и он насмеялся над его ослиным копытом. Что же? По-своему он был прав... Всё на свете относительно. Это всегда забывают просветители». Что же касается основного взгляда Белинского на социальный смысл пушкинского творчества, то в этом отношении и Плеханов вполне соглашается с криптиком сороковых годов.

Можно думать, что современная марксистская критика уже выработала твердую точку зрения на поэзию дворянина Пушкина. Ее формулировку можно видеть в заявлениях А. В. Луначарского («Литературные силуэты», стр. 49, 67—68): «В Пушкине-дворянине на самом деле просыпался не класс (хотя класс и наложил на него некоторую свою печать), а народ, нация, язык, историческая судьба... Пушкин многолик, отнюдь не мономан. Пушкина невозможно вогнать ни в какую формулу, не выдав себе самому свидетельства в чрезвычайной узости и педантизме. Конечно, очень многое в идеях Пушкина и его чувствах принадлежит к области классового дворянства, характеризует собою только его эпоху, далеко уходит за пределы имперского для нас. Но рядом с этим у Пушкина имеется огромное

и еще далеко не раскрытое эмоционально-идейное содержание общечеловеческой значимости», т. е. предвосхищающее ту «общечеловеческую культуру», которая «сделается возможной только при законченном коммунизме».

Через культуру своего класса Пушкин был связан с культурой всего образованного мира. Жадно впитывая в себя всё содержание европейской культуры, он шел «с веком наравне». Оттого в его творчестве так много мировых мотивов.

Июнь 1926 г.



*И. Н. Кубиков*

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СМЫСЛ  
ПОВЕСТИ «ДУБРОВСКИЙ».



Повесть «Дубровский» уже в пору своего появления производила двойственное впечатление. Литературная критика далекой от нас эпохи единодушно отметила поразительно яркую картину жизни жестокого самодура Троекурова — представителя крупного помещичьего землевладения. Что касается молодого Дубровского, изображенного Пушкиным с примесью явной романтики, то этот образ был признан вымышленным, или, во всяком случае, маловероятным. Дубровский является в повести не только идейным разбойником, бросающим вызов окружающей среде, но и человеком исключительного чувства. Достаточно припомнить его объяснение в любви с Машей Троекуровой (гл. XII), дабы определить мелодраматический уклон в изображении героя повести, — уклон, отвечающий, правда, в значительной мере принятым литературным традициям эпохи тридцатых годов прошлого века.

Как известно, повесть, написанная в конце 1832 г. и начале 1833 г., появилась в печати только в 1841 г., т. е. четыре года спустя после смерти поэта и вошла в десятый том первого издания его сочинений. Давая краткую характеристику этому десятому тому, литературный обозреватель газеты «СПБ Ведомости» писал: «Другая (вполне почтенная) повесть «Дубровский» в истинном свете изображает быт наших богатых помещиков — седых вельмож екатерининского века. Троекуров — это настоящий русский барин XVIII столетия, гордый, упрямый, своенравный, блистающий роскошью из тщеславия, презирающий всех, кто ниже его по чину и богатству. Но молодой Дубровский кажется нам лицом не русской природы. Это какая-то смесь Фрадиаволо и Карла Моора...» Делая краткое

изложение некоторых глав повести, обозревателъ заканчивает: «Все это не весьма естественно, в родклифовском, а не в пушкинском духе. Впрочем, при прелести рассказа не весьма правдоподобное содержание этой повести занимательно в высшей степени». («СПБ Ведомости», 1841 г., № 259.)

Белинский на вышедший десятый том первоначально дал небольшую рецензию, в которой писал, между прочим, следующее: «Десятый том содержит в себе прозаические статьи. Из них повесть «Дубровский» совершенно новая и доселе неизвестная публике. Это одно из величайших созданий гения Пушкина. Верностью красок и художественною отделкою она не уступает «Капитанской дочке», а богатством содержания, разнообразием и быстротою действия далеко превосходит ее». («Отеч. Зап.», 1841 г. 1 17.)

Но этот безотговорочный отзыв Белинского говорит лишь о первом впечатлении великого критика. Пять лет спустя (1846), заканчивая в десятой статье свой известный обзор творчества Пушкина, критик уже ясно видит и в «Капитанской дочке» и в «Дубровском» преобладание «пафоса помещичьего принципа». По мнению критика, «Дубровский, несмотря на все мастерство, которое обнаружил автор в его изображении, все-таки остался лицом мелодраматическим и не возбуждающим к себе участия. Вообще вся эта повесть сильно отзывается мелодрамой. Но в ней есть дивные вещи. Старинный быт русского дворянства, в лице Троекурова, изображен с ужасающею верностью».

Не следует думать, что в этой окончательной оценке Белинский противоречил своему первоначальному мнению о повести «Дубровский» и обнаружил шаткость своих эстетических оценок. Здесь все дело в том, что критик в 1846 г. рассматривал повесть уже под определенным идеологическим углом зрения, наиболее ярко выраженном в его знаменитом письме к Гоголю. К некоторым особенностям взгляда Белинского на повесть Пушкина мы еще вернемся.

П. Анненков в своих известных «Материалах» к биографии и оценке произведений Пушкина также обращает внимание на невидержанность общего стиля повести. Устанавливая по обстоятельству, что «Дубровского» Пушкин писал всего в продолжение трех месяцев, даже карандашом, Анненков о повести говорит: «Эта быспропа сочинения объясняет некоторые перерывы и отчасти романтический конец ее, который разноречит с сущностью всего остального содержания, замечательного строгой верностью с действительным бытом и нравами описываемого общества. Пушкин нарисовал свою картину с особенной энергией, а в характере Троекурова явился глубоким психологом. Вся повесть его и теперь поражает соединением истины и поэзии». (П. Анненков, Пушкин. Материалы для его биографии, стр. 358.)

Таким образом не только литературная критика того времени, но и первый исследователь творчества Пушкина, уже подходя к нему как историк литературы, отмечает поразительную жизненность изображенного быта помещика Троекурова и весьма относительную верность изображения молодого Дубровского.

А между тем, несмотря на всю справедливость этих оценок, в облике молодого Дубровского можно найти черты, дающие представление об очень любопытном социальном явлении того времени.

Теперь уже достаточно известно, что Пушкин не просто выдумал своего героя, а имел для его создания прототип в подлинной жизни. По сообщениям Бартенева о Пушкине, недавно вновь вышедшим с обстоятельными комментариями М. Цявловского, мы знаем, что «Дубровский» внушен был Нащокиным. «Он рассказывал Пушкину про одного белорусского небогатого дворянина, по фамилии Островский (как и назывался сперва роман), который имел процесс с соседом за землю, был вытеснен из имения и, оставшись с одними крестьянами, стал грабить сначала подъячих, потом и других. Нащокин видел этого Островского в остроге». («Рассказы о Пушкине», записанные

П. Барпеневым, со вступительной статьёй и примечанием М. Цявловского, изд. 1925 г., стр. 27.) Из ныне опубликованных бумаг Пушкина видно, что в программе предполагаемого произведения везде у поэта стоит имя Островского.

С другой стороны, и имя Дубровского также могло быть подсказано Пушкину событиями из русской помещичьей действительности, хотя и более отдаленного прошлого. В небольшой заметке «Мелочи о Пушкине» И. Шляпкин сделал любопытное сообщение, взятое из архивов Псковской канцелярии. В этом сообщении дело идет о событии конца XVIII века. Мелкий и крупный помещики пребывали во взаимной вражде. Мелкопоместный дворянин по фамилии Дубровский самочинно послал своих крестьян в имение своего соседа, чтобы они привезли опшуда лес. Виновные в порубке не были найдены. «Тогда канцелярия отправила сержанта с солдатами с приказом взять или других крестьян Дубровского, или крестьян других вотчин для отыскания виновных. Крестьяне архиерейских вотчин отказались идти, а когда сержант отправился в другую деревню Дубровского, то человек десять скрывавшихся крестьян вышли из лесу с топорами и рогатинами и объявили, что если их будут ловить, то они его — сержанта — с рассильными убьют или попопят в озере. При этом они заявили, что действуют так по наказу Дубровского, который писал, что если кто придет для поимки их, то, если поимщиков немного, бить их, а если много, то бежать в лес». («Пушкин и его современники», вып. XVI, И. Шляпкин, Мелочи о Пушкине, стр. 101—104.)

Таким образом, острое столкновение между крупным и мелким помещиком не только действительно имело место в подлинной жизни, но в некоторых, пусть редких случаях имело и те логические последствия, к которым это столкновение приводит в повести «Дубровский».

Литературный обозреватель газеты «СПБ Ведомости» 1841 г. не случайно сопоставляет Дубровского с Карлом Моором, ибо в том и другом случае разбойничество носит

идейный характер: экспроприированные стремятся как бы восстановить нарушенную справедливость. Здесь уместно припомнить те соображения по поводу «Разбойников» Шиллера, которые мы находим у К. Каутского и Ф. Меринга. Идею разбойничества «связано с определенными общественными отношениями... Оно появляется там, где именно крупные имения экспроприируют крестьян, а также мелких дворян, и где, с другой стороны, еще не возникла крупная капиталистическая промышленность, которая была бы в состоянии поглотить этих экспроприированных». (К. Каутский, К юбилею Шиллера, Гос. изд. 1920 г., стр. 7.) Не менее определенно об этом говорит Ф. Меринг: «Шиллер в разбойнике видел революционера, подобно Карлу Моору, мстящего за оскорбленное человечество негодяям, на которых всякий современник, читавший или видевший пьесу, мог указать пальцем. В экономически отсталых странах, где нет сильной крупной буржуазии, оппозиционно настроенной мелкой буржуазии и готового к борьбе пролетариата, способного противостоять деспотизму, бунтарски настроенные люди легко могут считать разбойничьи шайки единственной формой протеста против общества и государства». (Ф. Меринг, Мировая литература и пролетариат, изд. 1924 г., стр. 54.)

Эти черты сходства между К. Моором и Ринальдини, с одной стороны, и Дубровским — с другой, не могут скрыть от нас чисто русских бытовых черт, характерных для Дубровского как человека определенной эпохи, знаменующей социальное расслоение в пределах помещичьего класса.

Эта особенность Дубровского до сих пор осталась без рассмотрения, если не считать, как увидим ниже, вскользь брошенных замечаний пронизательного Белинского.

Последним толкователем повести «Дубровский» является А. Яцмирский. Его интересная и содержательная статья помещена в IV томе сочинений Пушкина, изд. Брокгауза, под ред. Венгерова. Устанавливая степень возможных западных литературных влияний на Пушкина,

А. Яцимирский говорит о характере идейного разбойничества Дубровского почти то же, что говорят Каутский и Меринг по поводу Карла Моора. А. Яцимирский отмечает, что идейные разбойники «появляются только в эпохи бесправия, когда они нужны бывают бедному населению, угнетенным, лишенным правосудия; и как только социальные условия изменяются к лучшему, как только справедливость начинает восстанавливаться иными путями,— они исчезают куда-то, исчезают сами по себе, чтобы снова появиться, когда это будет необходимо». (Пушкин, изд. Брокгауза, т. IV, стр. 277.)

Дав в своей статье подробный перечень руководителей народных восстаний, направленных против господствующих классов, А. Яцимирский вместе со Степаном Разиным, Пугачевым и менее известными представителями народной массы гетов включить за одну скобку и Дубровского. Что для него Дубровский является выразителем настроений угнетенного народа, показывает далее следующее место его статьи: «Социальная правда «Дубровского» и образа самого Дубровского состоип именно во всем ужасе того порядка, который делает невозможным существование масс, развращает тех, кто владеет этими массами, и вызывает появление таких героев, которые своим благородством, идеализмом, рыцарством, душевной красотой приковывают к себе все симпатии масс. Это те разбойники-идеалисты, к которым с необыкновенной любовью относятся и русская усная песня, и чуткий к правде народ». (Там же, стр. 272.)

Верная во многих своих частностях статья А. Яцимирского в основном ошибочна, ибо спирает разницу между обиженным дворянином Дубровским и подлинными выразителями народного гнева типа Степана Разина и Пугачева.

Столкновение между Троекуровым и Дубровским ничего общего не имеет с борьбой класса угнетенных с классом угнетателей. Наоборот, весь конфликт носит исключительно характер внутриклассового антагонизма,— вот истина, ко-



порую пора признаться в ее полном объеме. Для Белинского отчепливо было видно, что крестьяне в этом конфликте Троекурова и Дубровского играют чисто вспомогательную роль, не являясь самостоятельной силой в своеобразной внутриклассовой борьбе. Белинский не развил подробно на этот счет своих мыслей, но все же в большой статье «Русская народная поэзия» он мимоходом бросил мысль, представляющую большую ценность. Говоря об удельной междоусобице князей русского средневековья, критик замечает: «Народ тут не играл никакой роли, не принимал никакого участия. Черниговцы дрались с киевлянами не по племенной ненависти, а по приказанию князей. В повести Пушкина «Дубровский» превосходно выражена удельная борьба в раздоре крестьян Троекурова и Дубровского: бары поссорились, а слуги начали драться, вытаптывать поля, бить скот и поджигать избы». (В. Белинский, Соч., т. II, изд. Павленкова, стр. 376.) Вот почему, исходя из этих вполне правильных соображений, Белинский в своей последней статье о Пушкине и говорит, что в повести «Дубровский» преобладает пафос помещичьего принципа.

А. Яцимирский напрасно считает справедливым удивление некоторых историков литературы на то, что повесть, хотя и с небольшими купюрами, все же могла появиться в 1841 г. Чтобы рассеять это недоразумение, мы приведем отзыв еще одного критика сороковых годов, который самым определенным образом признал моральную правоту поступков Дубровского. Отметив необычайную жизненность страниц повести Пушкина, этот критик продолжает: «Но из-за этого рассказа само собой выступает истина нравственная, придающая глубокое значение всей картине. Этот разбойник Дубровский, зачавшийся в человеке честном и благородном, есть плод разбойничества общественного, прикрытого законом. Всякое нарушение правды под видом суда, всякое насилие власти, призванной к устройству порядка, всякое грабительство общественное, посмеивающееся истине, порождает разбой личный, которым гражданин обиженный мстит за неправду всего тела

общественного. Вот та глубокая, нравственная идея, которая, хотя не высказана отдельно, но сама собою яснее из повести Пушкина и придает ей великую значительность».

Кто же этот критик, который, на первый взгляд, высказывает такие как будто революционные мысли? Этим критиком является... С. Шевырев — убежденный апологет царского самодержавия и ярый ненавистник Белинского. Этот свой отзыв о «Дубровском» он поместил в журнале «Москвитянин» за 1841 г., кн. 9-я, — в том самом журнале, где в этом же году Шевырев напечатал свою статью «Взгляд русского на образование Европы», проникнутую духом образцовой благонамеренности и восхитившую, как это видно из письма Погодина к Шевыреву, русскую аристократию того времени. Как же могло случиться, что бунтовщик Дубровский оказался морально оправданным в глазах крайнего монархиста Шевырева? Это могло произойти потому, что для Шевырева была ясна картина внутриклассового антагонизма; для него было отчетливо видно, что Дубровский отнюдь не собирается выступить разрушителем классовых основ самодержавно-полицейского строя жизни. Это же было, как мы видели, ясно и для Белинского. Но разница отношений Шевырева и Белинского к Дубровскому в том, что там, где Шевырев усматривал «глубоко нравственную идею», Белинский видел лишь «пафос помещичьего принципа». Отсюда весьма сдержанное, даже холодное отношение Белинского к Дубровскому, выраженное великим критиком в его последней статье о Пушкине.

Но для самого поэта, быстро, в продолжение трех месяцев, набросавшего карандашом «Дубровского», — повесть была своеобразной авторской исповедью. В ней он выразил свое определенное отношение к окружающим его социально-экономическим явлениям жизни. Это сказывается на всем характере художественной проработки Троекурова и Дубровского. Здесь вполне уместно применить слова Л. Толстого в предисловии к сочинениям Мопассана: «Что бы ни изображал художник — святых, раз-

бойников, царей, лакеев,— мы ищем и видим только душу самого художника».

На какой основе складывалось общественное настроение Пушкина — вот вопрос, который необходимо выяснить для полного и правильного понимания повести «Дубровский».

---

Уже в первой четверти девятнадцатого века наметилось резкое расслоение в недрах русского старого барства. Известный исследователь внутренних отношений русской жизни, А. Гакстгаузен указывает определенную дату, с которой начинается крушение некоторой части дворянского землевладения. Он отмечает: «С 1812 г. все изменилось. Дворянские дома сгорели, дворянство, понесшее большие потери, удалилось во внутрь страны и не имело уже более ни сил, ни средств на восстановление прежних зданий и на продолжение в них той же праздной жизни и роскоши»<sup>1</sup>. Конечно, это только одна из причин начавшегося дворянского оскудения. Пушкин в своей статье «Мысли на дороге» говорит, что «обеднение Москвы доказывает и другое — обеднение русского дворянства, происшедшее частью от раздробления имений, исчезающих с ужасной быстротой, частью от других причин». При этом как Гакстгаузен, так и Пушкин отмечают сильный рост и значение торгово-промышленного класса. Гакстгаузен пишет: «Теперь на вопрос: Чей это дом? — получаешь ответ: фабриканта такого-то, купца такого-то, а прежде принадлежал князю такому-то, или такому-то» (Гакстгаузен, стр. 32). То же у Пушкина («Мысли на дороге»): «Купечество богатеет и начинает селиться в палатах, покидаемых дворянством».

Но это помещичье оскудение коснулось главным образом среднего и мелкого дворянства. Крупные землевладельцы даже укреплялись. «В промежуток времени от 1835 по 1857 г. помещики, имевшие 1000 душ, сильно умножились

<sup>1</sup> А. Гакстгаузен, Исследование внутренних отношений народной жизни и в особенности сельских учреждений России, стр. 32.

и увеличили свои имения». (Н. Рожков, Русская история, т. X, стр. 285.) «Правившее спраной крупное землевладение нашло для себя выгодным вступить в союз с буржуазией, союз, направленный, по крайней мере отчасти, против землевладения среднего». (М. Покровский, т. IV, стр. 22.)

Что же представлял собой этот крупный земельный собственник? Он меньше всего был родовитым аристократом. Об этих обломках старинных родов историк русского дворянства пишет: «Большая часть этих фамилий чрезвычайно обеднели, распались со своей родовой поземельной собственностью, исторически слившись с которой только и может держаться аристократия. А между прочим этого-то и не было с нашим дворянством. Как-стгаузен справедливо замечает, что весьма немногие аристократические фамилии в России сохранили свои родовые поместья: Шереметьевы, Строгановы, Голицыны, Воронцовы, Панины и проч.». (Романович-Словацкий, Дворянство в России, часть 2-я, стр. 25.)

В подавляющем большинстве случаев это были земельные аристократы сравнительно недавнего происхождения. Как говорит Романович-Словацкий, введенное Петром I «бюрократическое начало табели о рангах побывало аристократическое начало, развившееся в шляхетстве; чин одолевал породу».

Достаточно известно, что Пушкин, будучи по отцовской линии 600-летним столбовым дворянином, принадлежал по своему материальному положению к экономически падающей дворянской группе. Его письма на этот счет дают настолько исчерпывающий материал, что М. Н. Покровский в IV томе своей «Истории», говоря о задолженности дворянского землевладения эпохи тридцатых годов, указывает на Пушкина, как на типичного представителя «обедневшей части русского помещичьего класса.

После раздела имения на долю Пушкина пришлось 200 душ крестьян. Уже одно это весьма приближает его к той грани, за которой начинается даже не среднее,

а мелкое дворянство. По закону 1831 г., дворяне, имевшие менее 100 душ крепостных, не имели права непосредственного участия в дворянских собраниях, они лишь выбирали уполномоченных. По словам историка, «закон, касавшийся дворянского сословия, изданный с 1831 г., имел смысл сохранения дворянских привилегий за верхами дворянского общества с устранением от них дворянских низов». (Н. Рожков, т. X, стр. 186.) Но и эти 200 душ, приближавшие Пушкина к черте закона 1831 г., он вынужден был заложить за 38 тыс. руб., из которых за многими расходами на «годовое житие и обзаведение» ему осталось всего 17 тыс. (Письмо Пушкина к Плетневу, февр. 1831 г.)

Вряд ли является необходимостью цитировать многочисленные письма Пушкина, в которых дело идет о полном расстройстве его помещного хозяйства, о долгах ростовщикам и т. д. Достаточно сказать, что в бюджете Пушкина под конец жизни все большую роль начинает играть, помимо правительственной субсидии за исторические работы, непосредственный литературный заработок. Вот, например, отрывок из письма к жене от 2 сент. 1833 г. «Живо воображаю первое число. Тебя перебьют за долги Параша, повар, извозчик, аптекарь, т-т Zichler etc., у тебя не хватает денег, Смирдин перед тобой извиняется, ты беспокоишься, сердисься на меня — и поделом».

Плохие материальные обстоятельства все более заставляют Пушкина думать о переселении из столицы в деревню. Об этом он пишет Павлищеву за девять месяцев до смерти. Но, опасаясь неудовольствия властей и находясь во вредном для него семейном окружении, Пушкин вынужден был тянуться за высшим дворянством. Но ведь это «богатое, знатное и выслужившееся до больших чинов дворянство пренебрежительно даже среднесостоятельных, рядовых дворян и презрительно отбросило от себя дворянскую мелкоту». (Н. Рожков, т. V, стр. 187.)

Пушкин это, конечно, чувствовал. Его самолюбие и достоинство были уязвлены и оскорблены. Он прекрасно

знал, что среди этих новых аристократов были потомки самых ничтожных плебеев. Ему было известно, что помимо чиновничьей выслуги было много случаев в прошлом, когда вчерашний придворный певчий Разумовский становился первым лицом в государстве; Фуке, повар императрицы Елизаветы, был возведен в чин бригадира; Лука Чеспихин, придворный карла Екатерины I, был пожалован в майоры или в полковники; Захар Зотов был сначала камердинером у Попемкина, а потом у Екатерины II и т. д.

Имея в виду именно эту категорию нового знатного барства, Пушкин, материально приниженный потомок знатного рода, говорит в достаточно известных стихах:

Не торговал мой дед блинами,  
Не ваксил царских сапогов,  
Не пел с придворными дьячками,  
В князья не прыгал из хохлов.  
И не был беглым он солдатом  
Австрийских преданных дружин;  
Так мне ли быть аристократом?  
Я, слава богу, мещанин.

Что оставалось делать Пушкину, представителю падающей категории помещичьего класса, как ни горько иронизировать над своим положением или хвататься за свою породу шестисоплетнего дворянина, как утопающий хватается за соломинку.

В отрывке «Гости съезжались на дачу» устами собеседника говорит сам Пушкин. Он отмечает, что древнее русское дворянство упало в неизвестность и составило род «трепёвого состояния»; «чернь, к которой я принадлежу, считает между своими родоначальниками Рюрика и Мономаха; но настоящая аристократия наша с трудом может назвать и своего деда. Древность их не восходит до Петра и Елизаветы. Денщики, певчие, хохлы — вот их родоначальники, будь сказано не в упрек». Пушкин готов примириться с тем, если достоинство и государственная польза требуют возвышения человека. Но чувствуя свое принижённое положение среди этой сравнительно новой

аристократии, Пушкин возмущенно говорит: «Смешно только видеть в ничтожных внуках спесь, точно они потомки первого христианского барона Клермон-Тоннера».

Это настойчивое стремление Пушкина противопоставить значность своего рода материальному могуществу дворян с сомнительной родословной как раз и характерно для человека, которому осталось только цепляться за фикцию, не имеющую реального значения. Большой художник и знаток психологии различных дворянских групп, Тургенев говорит о своем разорившемся дворянине Чертопханове: «Чем хуже становились его обстоятельства, тем надменнее и высокомернее становился он сам». Вспомним великолепную сцену из рассказа «Чертопханов и Недолюскин», когда Чертопханов защищает своего приниженного приятеля от насмешек богатого барина, когда этот барин, спрусивший от зычного голоса Чертопханова, смущенно лепечет какое-то извинение, а Чертопханов гремит: «Я Пантелей Чертопханов, сполбовой дворянин, мой пращур царю служил, а ты кто?» Представьте себе Чертопханова человеком высокой культуры, к тому же проникнутым западноевропейскими идеями — и вы получите Кондрапия Рылеева с его исключительной ненавистью к «аристократии».

У Пушкина это ощущение эфемерности своего дворянского бытия принимало несколько иной характер и направление, чем у людей типа Рылеева, да Рылеев и не мог козырять значностью рода. Но все же Пушкин не прочь пострадать брата царя Николая I новым бунтом дворянской интеллигенции, обездоленной материально. Он говорит: «Что же значит наше старинное дворянство с именьями, уничтоженными бесконечными раздроблениями, с просвещением, с ненавистью противу аристократии и со всеми приязаниями на власть и богатство? Этакое страшное стихии мятежа не и в Европе. Кто был на площади 14 декабря? Одни дворяне. Сколько же их будет при новом возмущении? Не знаю, а кажется много».

В этих словах поэта скрыто несомненное противоречие. Возможный новый мятеж в его толковании принимает

резко выраженный классовый характер. Основной его побудительной причиной является «припязание на власть и богатство» обессиленной части русского дворянства. Но если мятеж принимает характер хотя и развернутого, но по существу внутриклассового антагонизма, — он не может быть «страшной стихией» для власти, ибо не опирается на широкие интересы народной массы.

Но Пушкина, в данном случае, интересовала не проблема революции в ее полном объеме, а характер умонастроения известной части русского дворянства, экономически бес- сильной, но несомненно представляющей интеллигенцию класса.

В статье «Разговор» Пушкин возмущается либераторами-плебейми, нападающими на дворянство. Он намекает в этой статье на то, что на «новое дворянство» направить стрелы журналистов было бы и не грех. Но получается наоборот: «Наши журналисты перед этим дворянством вежливы до крайности; они нападают именно на старинное дворянство, которое ныне, по причине раздробленных имений, составляет у нас род среднего состояния, состояния почтенного, трудолюбивого и просвещенного; состояния, к которому принадлежит и большая часть наших либераторов. Издеваться над ними (и еще в официальной газете «Северная пчела») нехорошо и даже неблагоприятно»...

Для данного исторического периода Пушкин был прав: интеллигенция (а о ней в сущности и идет у него речь) была преимущественно интеллигенцией дворянской. Но позволительно усомниться в том, что она состояла главным образом из людей со старинными дворянскими фамилиями. В этом утверждении сказывается уже сила субъективных переживаний поэта — родовитого помещика с «раздробленным имением» и с его двумястами душ, к тому же еще заложенных, крестьян.

Отношение Пушкина к исторически сложившимся материальным перегруппировкам в пределах дворянского класса наиболее определенным образом сказывается в его «Исторических заметках».



Преклоняясь перед Петром I, Пушкин всех остальных правителей, царствовавших после его смерти, называет «невежественными последователями северного исполина». В примечаниях к этим заметкам он говорит о безграмотной Екатерине I, кровавом злодее Бироне и сластолюбивой Елизавете.

Особенно в этих заметках Пушкин не скрывает своей ненависти к Екатерине II, давшей возможность, после произведенного дворцового переворота, продвинуться к власти и богатству многим людям весьма невысокого происхождения. «Возведенная на престол заговором нескольких мятежников,— говорит Пушкин,— она обогатила их на счет народа и унизила беспокойное наше дворянство». Обломок униженного рода, Пушкин говорит об эпохе Екатерины II как о презренном времени, «когда не нужно было ни ума, ни заслуг, ни талантов для достижения второго места в государстве». Список любимцев Екатерины II—это, по мнению Пушкина, список «обреченных презрению потомства... Екатерина знала плушни и грабежи своих любимцев, но молчала».

Отмечая лицемерный характер правления Екатерины II и страдания поработанного народа, Пушкин говорит также и о жертвах екатерининского правления—Новикове, Радищеве, Княжнине и Фонвизине.

В повести «Дубровский» писатель от прошлого переходит к настоящему: перед нами как бы жестокие последствия перегруппировки, совершившейся в ряде десятилетий, связанных с дворцовыми переворотами и развитием фаворитизма. Рассказанная Нащокиным Пушкину история о белорусском небогатом дворянине Островском, вытесненном из имени своим соседом, падала на весьма благоприятную почву. Но для Пушкина эта история об Островском все же была только фабулой будущего повествования. Характер сюжетного оформления этой фабулы всецело определялся тем, вытекающим из всех условий бытия, умонастроением поэта, на котором мы и остановились так подробно.

В повести «Дубровский» — представители трех категорий дворянского класса того времени, олицетворяемые образами Троекурова, Верейского и Дубровского.

Богатый помещик Троекуров — это представитель той части богатого дворянства, которая вышла из недр дворцовых переворотов и фаворитизма. Мы знаем теперь достаточно подробно, что Пушкин относился к этой категории с ненавистью и презрением.

Не надо смущаться словами «старинный русский барин», которыми начинается повесть. Эпитет этот по отношению к Троекурову можно понять только в условном смысле; здесь, как и в отрывке «Гости съезжались на дачу», Пушкин оставляет за представителями неродовитого, но богатого и властного дворянства звание «аристократии». Между прочим, надо иметь в виду, что повесть была Пушкиным не отделана и не закончена. По отношению к Троекурову в ней до самого последнего времени был один анахронизм, на который еще никто не обратил внимания. В новой редакции «Дубровского», сделанной Б. Томашевским, этот анахронизм устранен, но еще в редакции С. Венгерова (Пушкин, изд. Брокгауза, т. IV) он остался во всем своем несоответствии. Только то, что в предшествовавших изданиях напечатано просто, — в редакции С. А. Венгерова заключено в скобки, как слова, исключенные поэтом. Мы имеем в виду те строки, где Пушкин говорит о дружбе Троекурова и отца Дубровского в период их юности: «Славный 1762 год разлучил их надолго. Троекуров родственник княгини Дашковой пошел в гору». Сами по себе эти слова Пушкина очень интересны. Здесь он дает понять читателю, что Троекуров «пошел в гору» после дворцового переворота, устроенного Екатериной, как известно, при весьма активном участии Дашковой. В задачу Дашковой входило обрабатывать в агитационно-пропагандистском смысле в пользу переворота хотя бы часть родовитой аристократии, к которой она сама принадлежала. Но «родственник княгини» мог быть и не столь родовитым человеком. Если мы припомним по «Историческим заметкам» Пушкина об его

отношении к дворцовому перевороту Екатерины II, то, конечно, сразу поймем, что слова «славный 1762 год» нужно понимать только в ироническом смысле. Эти приведенные строки Пушкин выбросил, по всей вероятности, по двум причинам: во-первых, ирония могла быть непонята большинством читателей, а во-вторых, — и это самое главное, — слова эти порождают серьезный анахронизм.

Если предположить, что Троекуров в молодости пошел в гору благодаря дворцовому перевороту 1762 г., то надо думать, что ему было тогда хотя бы 20 лет. Следовательно, он как бы родился в 1742 г. Но во второй главе, где рассказывается, как Троекуров выиграл дело и отпятигал имение у Дубровского, мы видим, что в определении суда есть ссылка на указ 1818 г. Если предположить, что это событие относится, скажем, к 1820 г., то в результате выйдет, что в момент пятияблы Троекурову было 80 лет. Между тем по одному из текстов видно, что Троекуров «пятидесятилетний старик», что как раз вполне соответствует его общему бодрому и бравому облику. Но и это еще не все. Из определения суда видно, что к спорному имению имел касание отец Троекурова, который, «волею божиею помер, а между тем он, проситель генерал-аншеф Троекуров, с 1782 года почти с малолетства находился на военной службе и по большей части был в походах и за границей». Если мы обратим внимание на подчеркнутые нами строки, т. е. примем 1782 г. как год малолетства Троекурова, то эта дата и приведет нас к двадцатым годам XIX в., к возрасту «пятидесятилетнего старика», что и необходимо по общему смыслу повести. И по этому же смыслу утрачивает всякий резон 1762 год, в который Троекуров, при нашем подсчете, не мог даже и родиться.

Но стремление Пушкина связать род Троекуровых с результатами дворцового переворота все же остается. Только это стремление приобретает в повести характер намека, до которого надо дойти путем умозаключения. В этом смысле большое значение приобретают такие строки

из большого определения суда (гл. II): «Из коего дела видно: означенный генерал-аншеф Троекуров прошлого 18... года июня 9-го дня взошел в сей суд с прошением о том, что покойный его отец коллежский ассесор и кавалер Петр Ефимов сын Троекуров 17... году (в редакции С. Венгерова более точно: 1759 г.) августа 14 дня, служивший в то время в... наместническом правлении провинциальным секретарем...» и т. д. Что это значит? Этот текст говорит нам о том, что приблизительно за три года до дворцового переворота Екатерины II отец «старинного русского барина» Троекурова был мелким провинциальным чиновником. Для нас несущественно, с помощью какого фаворита или фаворитки отец Троекурова «пошел в гору». Для нас важно общее положение насчет фаворитов и родственников, сформулированное в «Исторических заметках» Пушкина так: «Самые отдаленные родственники с жадностью пользовались кратким его царствованием. Отсюда произошли эти огромные имения неизвестных фамилий».

Этот текст заключения суда по тяжбному делу появляется впервые только в «Русской старине» 1887 г., кн. 9 и в изданиях Пушкина 1903 г. (одно — ред. Ефремова, другое — Морозова). Но уже в 1880 г. В. Ключевский говорил в своей речи на открытии памятника Пушкину: «Троекуровы родились при Елизавете, процветали в столице, дурили по захолустьям при Екатерине II, но посеяны они еще при Анне». (В. Ключевский, «Статьи и речи», т. II, изд. 1919 г., стр. 63.) Проницательный читатель-историк, не имея полного текста повести, только предположительно устанавливает восходящую линию рода Троекуровых, но это уже не имеет существенного значения. Здесь важно, к какому общественному типу, по мнению историка, должен быть отнесен Троекуров.

На этот счет в самой повести во всех изданиях есть еще одно указание, дающее представление об условной знатности рода Троекуровых. В главе XIII, где князь Вейский просит Троекурова приехать к нему в гости, «гордый Троекуров обещался, ибо, взяв в уважение княже-

ское достоинство, две звезды и 3 000 душ родового имени, он до некоторой степени почитал князя Верейского равным себе».

В образе Троекурова, вопреки мнению некоторых полководцев «Дубровского», Пушкин показал не просто обычного представителя крупного помещичьего землевладения, с его достоинствами и недостатками, а худший тип помещика-крепостника. Конечно, великий поэт, как и каждый большой художник, понимал, что если сделать Троекурова полным злодеем во всех смыслах, то образ потеряет свою художественную убедительность. Ведь самый свирепый палач может любить свою родную дочь и самый жестокий самодур может питать к кому-нибудь приятельское чувство. Сделай, например, Пушкин Троекурова к тому же до жадности корыстолюбивым, которому какая-то Кистеневка нужна сама по себе, и это было бы уже сгущение темных тонов, совершенно ненужное для художественной характеристики общего резко отрицательного облика Троекурова. В основном Троекуров остается невежественным, жестоким и развратным человеком. Припомним те строки из первой главы повести, которые Пушкин, если и имел намерение выбросить, то, вероятно, по цензурным соображениям. «Редкая девушка из его дворовых избегала сластолюбивых покушений пятидесятилетнего старика». Гарем из шестнадцати молодых затворниц, из которых некоторые выдавались замуж, а «новые поступали на их место», уже дает определенное представление об облике Троекурова. Далее идет его «строгое и своенравное отношение к крестьянам». Ему достаточно съесть не по вкусу приготовленный обед, чтобы избить повара. В общем Троекуров открывает в русской художественной литературе галерею тех отвратительных угнетателей крестьян и разной мелкоты, которые потом проходят в произведениях Тургенева, Герцена, Григоровича и Салтыкова.

Самодурство Троекурова принимает уже исключительно жестокий характер в забаве с медведем. Надо представить себе этого бедного гостя с оборванной

полою, до крови исцарапанного, отыскивающего безопасный угол и затем три часа стоящего прижатым к стене перед лицом разъяренного зверя, чтобы оценить по достоинству отвратительного виновника этой «лучшей штучки». И разве не чувствуется глубочайшее презрение поэта к Троекурову, выраженное в сдержанных иронических словах: «Таковы были благородные увеселения русского барина».

Совершенно иначе Пушкин относится к князю Вере́йскому. Этот представитель крупного землевладения является вместе с тем и родовитым аристократом. Обломок униженного рода и владелец небольшого «раздробленного имения», Пушкин видит в князе Вере́йском уцелевшего от материального крушения представителя дворянской культуры. Психологически князь Вере́йский, конечно, более близок Пушкину, чем невежественный Троекуров, «никогда не читавший ничего, кроме книги «Совершенной поварихи».

В князе Вере́йском имеются определенно онегинские черты: «он имел непрестанную нужду в рассеянии и непрестанно скучал». На Машу Троекурову этот пятидесятилетний князь произвел совсем не плохое впечатление. Оживленный ее присутствием, Вере́йский «был весел и успел несколько раз привлечь ее внимание любопытными своими рассказами». Во время прогулки Марья Кирилловна «с удовольствием слушала льстивые и веселые приветствия светского человека». В гостях у Вере́йского «Марья Кирилловна не чувствовала ни малейшего замешательства или принуждения в беседе с человеком, которого видела она только во второй раз отроду». После катания на озере она, вместо хозяйки, разливала чай, «слушая неистощимые разговоры любезного говоруна». Так, настойчивым подбором ряда черт, Пушкин говорит о способности Вере́йского быть очаровательным.

И только после того как, не дав укрепиться этому чувству симпатии, Вере́йский сделал предложение Маше Троекуровой, опираясь на власть ее отца, «он вдруг показался ей отвратительным и ненавистным». Но это, как известно, не помешало Маше Троекуровой признать бесповоротность своей судьбы после совершенного брака с Вере́йским.

Вскользъ брошенным намеком Пушкин дает понять читателю, что отношения Верейского к своим крепостным крестьянам тоже совсем не плохи. Подъезжая к Арбатову, имению Верейского, Троекуров «не мог не любоваться частыми и веселыми избами крестьян». И наконец уровень высокой культуры Верейского Пушкин отмечает такими словами: «Потом они занялись рассмотрением галереи картин, купленных князем в чужих краях. Князь объяснял Марье Кирилловне их содержание и историю живописцев, указывал на достоинства и недостатки, он говорил о картинах не на условленном языке педантического знатока, но с чувством и воображением. Марья Кирилловна слушала его с удовольствием».

Таково любопытное распределение света и теней в облике европейски образованного старинного дворянина Верейского и грубого, жестокого и невежественного Троекурова — представителя той знати, которая вышла из эпохи фаворитизма. Это сопоставление отчетливо говорит нам, что дворянская действительность, изображенная в повести, проходит через призму своеобразного умонастроения Пушкина.

---

Образ Маши Троекуровой является в повести второстепенным. А. Яцимирский даже полагает, что Марья Кирилловна — только фон. Ее роль — чисто служебная. «Ни на минуточку в ней не чувствуется самоудовлетворяющей ценности». Но это не совсем так. В сжатом повествовании Пушкина ей отведена почти вся восьмая глава, из которой виден любимый поэтом образ юной мечтательницы. Как и Татьяна Ларина, Маша Троекурова «не имела подруг и выросла в уединении» и так же воспитывалась на сентиментальных романах западной литературы. Но, в отличие от Татьяны, Пушкин более определенно вскрывает в Маше Троекуровой кастовые черты, характерные для дочери крупного помещика. Пушкин объясняет, почему Дубровский при первом появлении в доме Троекуровых не произвел на нее впечат-

ления: «Маша не обратила никакого внимания на молодого француза, воспитанная в аристократических предрассудках, учитель был для нее род слуги или мастерового, а слуга иль мастеровой не казался ей мужчиной». Но когда Дубровский в истории с медведем проявил свою отвагу и хладнокровие, она впервые увидела, «что хребость и гордое самолюбие не исключительно принадлежат одному сословию — и с тех пор стала оказывать молодому учителю уважение, которое час от часу становилось внимательнее».

Здесь Пушкин, с одной стороны, говорит о том, что это расширение жизненного опыта благотворно подействовало на юную Троекурову, а с другой — поэт лишний раз утверждает значение дворянской интеллигенции, т. е. благородство ума и характера, в отличие от фиктивного благородства материально могущественной «аристократии».

Образ Дубровского, по общему признанию, далек от художественного совершенства. Начиная от Белинского, который видел в Дубровском лицо мелодраматическое, кончая пушкинистом Н. Лернером, отметившим бесцветность фигуры главного героя произведения, — все говорят в этом смысле о невидержанности повести. Но при оценке этого произведения в целом необходимо иметь в виду, что Пушкин, с одной стороны, завершает романтическую традицию, а с другой — является новатором реалистом. Повесть появилась в печати в 1841 г., т. е. через девять лет после ее написания и четыре года спустя после смерти поэта. За это время реалистическое направление, нашедшее в Гоголе высшую точку своего развития, определило и взгляды наиболее влиятельной литературной критики на художественную ценность повести великого поэта. Начав с весьма значительных страниц первых глав, знаменующих появление яркого реалистического произведения, Пушкин переходит на проторенный тогда путь романтико-авантюрного жанра. Но и в дальнейшем страницы, где Дубровский фигурирует в виде



персонажа традиционных разбойно-рыцарских повестей, переплетаются со страницами большого социального значения. По всему видно, что творческое горение великого писателя было именно на тех страницах, где он художественно объективировал свое отношение к окружающей его помещико-дворянской действительности.

Какое напряженное писательское внимание видно со стороны Пушкина в тех местах произведения, где он стремится вскрыть злобный общественный смысл изображаемых явлений! Давая во второй главе текст «определения суда», писатель стремится к полной правдивости в изложении судебного процесса. Известно, что Пушкин в этом отношении пользовался указаниями одного московского юриста — ловкого практика. В письме к Нащокину от 2 декабря 1832 г., где Дубровский еще называется Островским, т. е. подлинным мелкопоместным дворянином-бунтовщиком, Пушкин говорит об окончании части повести: «Честь имею тебе объявить, что первый том Островского кончен и на-днях прислан будет в Москву на твое рассмотрение и под критику Г. Короткого». («Переписка», т. II, изд. Акад. Наук, стр. 398.) Идя к художественному реализму, писатель несомненно стремился и к общественно-принципиальному обоснованию своего взгляда на явления дворянского внутриклассового антагонизма. Это видно по следующему вступлению к определению суда: «Мы помещаем его вполне, полагая, что всякому приятно будет увидеть один из способов, коими на Руси можем мы лишиться имени, на владение коим имеем неоспоримое право».

Взбунтовавшийся дворянин Островский потому так и захватил воображение Пушкина — обедневшего дворянина, что он видел в деле Островского торжество дворянской крупномещичьей знати, к услугам которой продажная полицейская власть. Поэт, испытавший на себе, что такое высокомерие этой знати, сочувствует Островскому, а потому при обработке художественного образа делает этот образ интимно близким себе, превращая его в Ду-

бровского. Мы имеем в виду те страницы повести, где Дубровский имеет черты реального героя произведения. Вспомним в данном случае указанное выше замечание Л. Толстого о художнике, изображающем свою собственную душу.

Эту интимную близость образа Дубровского к Пушкину можно установить по некоторым интересным признакам. Так, например, образ Егоровны, няни Дубровского, весьма напоминает образ пушкинской Арины Родионовны. Н. Лернер сопоставил подлинное письмо Арины Родионовны к Пушкину с письмом Егоровны к Дубровскому и открыл поразительные черты сходства. Не станем приводить текста этих сопоставлений. Приведем только вывод Н. Лернера: «Сходство между обоими приведенными письмами бросается в глаза сразу. Оно не ограничивается одним общим тоном, выражающим сердечную любовь и привязанность престарелой пестуньи к питомцу, одним и тем же языком, удивительно народным и живым, из родника которого зачерпнул столько прелести наш великий мастер слова, но идет дальше и доходит до общих выражений». (Пушкин и его современники, вып. VII, стр. 68—70.)

Не менее интересно сходство текстуальное между одной из страниц «Истории села Горюхина» и страницей из «Дубровского». Можно определенно сказать, что пейзаж Горюхина — это картина села Болдина — разоренного имения отца Пушкина. «Через 10 минут въехал на барский двор; сердце мое сильно билось; я смотрел вокруг себя с волнением необыкновенным; восемь лет не видал я Горюхина. Березки, которые при мне посажены были около забора, выросли и стали теперь высокими ветвистыми деревьями. Двор, некогда украшенный тремя правильными цветниками, меж которых шла широкая дорога, усыпанная песком, теперь обращен был в нескошенный луг, на котором паслась бурая корова». Все это место из «Истории села Горюхина» почти слово в слово переходит в третью главу «Дубровского» — в то место этой главы, где рассказывается, с каким «волнением неописанным» въезжал

молодой Дубровский в свое родное село<sup>1</sup>. Наконец вспомним прекрасные волнующие страницы пятой главы, где Пушкин изображает переживания Дубровского после похорон отца, когда, чтобы заглушить душевную скорбь, он сначала идет не разбирая дороги, а затем сидит на холодном дерну, среди деревьев, полуобнаженных осенью, — и пойдем лирическую настроенность великого поэта при писании ряда проникновенных страниц этой повести.

Но несмотря на все это, Пушкин, как и герой его повести, остается всецело в пределах внутриклассового антагонизма. К повести «Дубровский» вполне подходят слова Белинского, сказанные великим критиком по отношению к «Евгению Онегину»: Пушкин «нападает в этом классе на все, что противоречит гуманности; но принцип класса — для него — вечная истина...» Это не исключает мотивов общечеловеческих в творчестве Пушкина вообще, но нас сейчас интересует исключительно удельный вес социального протеста экспроприированного помещичьего дворянина Дубровского и идеология великого художника — апологета этого протеста.

Рассказывая о юных годах Дубровского, Пушкин дает понять читателю, что жизнь героя повести совсем не предвещала будущего протестанта. Корнет гвардии Дубровский был «распочипелен и честолобив, он позволял себе роскошные прихоти, играл в карты и входил в долги, не заботясь о будущем и предвидя себе рано или поздно богатую невесту, мечту бедной молодости». Если мы припомним сообщения Пушкина («Мысли на дороге») и Гакстгаузена о переходе части дворянской собственности в руки буржуазии, то можем представить себе эту «мечту бедной молодости» Дубровского в виде дочери купца или фабриканта. Но для этого молодому Дубровскому необходимо сохранить свою хотя бы и мелкопоместную устойчивость. Между тем вражда с Троекуровым сразу выбивает почву из-под его ног, ибо он понимает, что «бедное достояние

<sup>1</sup> На это сходство первый обратил внимание Д. Благой в своей статье «Миф о декабристах». («Печ. и рев.», 1926 г., кн IV.)

могло опойти от него в чужие руки — в таком случае нищета ожидала его». Пушкин достаточно ясно дает понять, что этот страх нищеты тяготеет над ним. И когда наконец с препетом ожидаемое совершилось — судьба толкает его на путь социального протеста. И всё же первоначально Дубровский ни о каком бунте не думает. После наглых речей заседателя Шабашкина начинается возмущение крестьян. Дубровский пресекает это возмущение: «Дураки, что вы это? Вы губите и себя и меня — ступайте по домам и оставьте меня в покое. Не бойтесь, государь милослив, я буду просить его — он нас не обидит — мы все его дети, — а как ему за вас будет заступаться, если вы станете бунтовать и разбойничать».

Но вера в возможность законного пути рушится. Политически лояльный, Дубровский вступает на путь активной борьбы с земельной аристократией. И вот здесь, на этом пути, Пушкин рекомендует своего героя как весьма умеренного человека, совсем не помышляющего об уничтожении коренных социальных основ помещичьей власти. В седьмой главе мы читаем: «Несколько проек, наполненных разбойниками, разъезжали днем по всей губернии — останавливали путешественников и почту, проезжали в села, грабили помещичьи дома и предавали их огню. Начальник шайки славился умом, отважностью и каким-то великодушием». Оставим без рассмотрения то несообразное обстоятельство, что ради композиционных целей повесили дом Троекурова вообще остался пощаженным, и рассмотрим поведение Дубровского по его принципиальному существу.

Программа Дубровского и вытекающие из нее действия вскрываются перед нами особенно ясно в главе девятой, когда он, в виде замаскированного генерала, внушает помещице Анне Савишне правильные представления о действиях Дубровского: «Я слышал, что Дубровский нападает не на всякого, а на известных богачей, но и путь делится с ними, а не грабит дочиста».

Эта скромная программа «разбойника» Дубровского, великодушно возвратившего Анне Савишне две тысячи руб-

лей, ясно говорит о чисто внутриклассовом характере активного протеста Дубровского. Дело идет лишь о распределении материальных благ в пределах дворянского класса. Крепостные крестьяне в этой борьбе играют исключительно роль орудия — слепой стихийной силы, рабски повинующейся своему господину. Достаточно повелительного слова Дубровского, чтобы знатный богатей помещик проследовал в своей свадебной карете дальше целым и невредимым.

Весь характер «разбоя» Дубровского, хотя и вызывает понятную тревогу среди помещиков, но все же не имеет ничего общего с уничтожением дворянского уюта во времена крестьянских восстаний. Богатый князь Верейский на вопрос Троекурова относительно нападения Дубровского на его княжеское имение Арбатово беззаботно отвечает: «Да, прошлого году он, кажется, что-то сжег или разграбил».

Но поскольку Дубровский собственной силой стремится восстановить нарушенную справедливость, — он не может в глазах власти не быть бунтовщиком.

В тот момент, когда Дубровский вступает на путь борьбы с правительственными войсками, когда «он подошел к офицеру, приставил ему пистолет к груди и выстрелил», — в этот момент его социальный протест объективно превращается в протест политический. Но эта борьба настолько неравная, что для Дубровского могло быть только два выхода: или попытаться объединить для этой борьбы широкие крестьянские массы, — для чего пришлось бы отказаться от узкого классового понимания борьбы и сделаться идеологом и вдохновителем гнева замученных крепостных рабов, — или распустить своих крестьян\* и самому скрыться. К первой задаче Дубровский совсем не имеет призвания. Он выбирает второй выход. После его исчезновения «пожары и грабежи прекратились сами собой».

Изображая крестьян, Пушкин в повести подчеркивает лишь их исключительную преданность своим господам. Это

относится одинаково как к крестьянам Троекурова, так и Дубровского. И только кузнец Архип, изображенный гениальным мастером слова, дает нам понятие о силе крестьянского гнева к угнетателям. Вопреки Дубровскому Архип оставляет запертыми двери, и полиция во главе с исправником гибнет в огне. Конец этой, шестой, главы приобретает сейчас, при полковании событий великой революции, громадную важность. Кузнец Архип, спокойно глядящий на гибель людей в огне пожара и спасающий погибающую кошечку, как «божью тварь», с изумительной ясностью вскрывает сложность переживаний угнетенной народной массы: страшная жестокость к своим классовым врагам не исключает одновременной любви и сострадания не только к угнетенному человеку, но даже и к гибнущей кошке.

Отношение Дубровского к этой крестьянской массе ни в какой мере не напоминает отношения руководителя народного восстания, считающего себя составной частью возмущенного коллектива. Для Дубровского крестьяне являются лишь средством в его борьбе с крупными землевладельцами. И когда наступает момент ликвидации мятежа, он распускает свои опряды, ибо они ему уже больше не нужны. И разве не слышны ноты чисто дворянского высокомерия в таких словах Дубровского: «Вы разбогатели под моим начальством, каждый из вас имеет вид, с которым безопасно может обратиться в какую-нибудь отдаленную губернию и там провести остальную жизнь в честных трудах и изобилии. Но вы все мошенники и, вероятно, не захотите оставить ваше ремесло».

Из недавно опубликованных бумаг Пушкина видно, что поэт предполагал окончить повесть конспиративным и уединенным пребыванием Дубровского в Москве. Здесь форейтор героя повести попадает в буйстве и доносит на своего барина обер-полицеймейстеру. Если бы такой прозаический финал был написан, он окончательно сбросил бы незаслуженный ореол выразителя народного гнева, которым окружили героя повести Пушкина некоторые

истории литературы; но и без этого финала сущность внутриклассового антагонизма достаточно вскрывается при внимательном разборе повести Пушкина, насыщенной большим социальным содержанием.

Мы очень подробно остановились на том важном обстоятельстве, что это чувство внутридворянского антагонизма в значительной мере было родственно самому великому поэту. Отсюда и та несомненная идеализация Дубровского, которая еще и до сих пор мешает правильному пониманию сокровенного смысла этой замечательной повести.





*Акад. М. Н. Розанов*

ОБ ИСТОЧНИКАХ СТИХОТВОРЕНИЯ ПУШКИНА  
«ИЗ ПИНДЕМОНТЕ»



Стихотворение «Из Пиндемонте» («Недорого ценю я громкие права, от коих не одна кружится голова...» и т. д.) принадлежит к числу посмертных произведений Пушкина. Живя летом 1836 г. на даче, на Каменном острове, поэт написал ряд стихотворений, точно им датированных в рукописи, а именно: 22 июня — «Подражание ипальбянскому» («Как с древа сорвался предатель ученик»), 22 июля — «Отцы пустынноики и жены непорочны», 14 августа — «Когда за городом задумчив я брожу и на публичное кладбище захожу» и 21 августа — «Я памятник воздвиг себе нерукотворный»<sup>1</sup>. Стихотворение «Недорого ценю я громкие права» помечено «5 июля», без обозначения года, но, по всей вероятности, оно принадлежит к той же группе «каменноостровских» стихотворений и написано было вслед за «Подражением ипальбянскому». Во всяком случае, как будет указано ниже, дата его не может быть ранее 1834 года.

В печати это стихотворение появилось впервые в издании П. В. Анненкова (т. VII, 1857 г.), но с пропуском некоторых мест (из цензурных соображений).

Издателем было сделано указание, что в подлинной рукописи поэта первоначальный заголовок был «Из Alfred Musset», но затем был исправлен так: «Из VI Пиндемонте». В таком виде заголовок перепечатывался во всех последующих изданиях сочинений Пушкина, хотя загадочная цифра VI приводила в недоумение всех комментаторов. Как увидим ниже, эта загадка находит себе очень простое объяснение.

<sup>1</sup> Ср. М. Л. Гофман, Посмертные стихотворения Пушкина 1833—1836 гг. («Пушкин и его современники», вып. XXXIII—XXXV, Петербург, 1922).

Колебания поэта в указании источников стихотворения навели П. В. Анненкова на мысль, что этим ссылкам на иностранных писателей не следует давать веры, так как они сделаны из каких-нибудь посторонних (всего вероятнее — цензурных) соображений, в действительности же это стихотворение — продукт совершенно самостоятельного творчества поэта.

Точка зрения Анненкова была усвоена безусловно всеми последующими издателями и критиками. Ее разделяют: П. О. Морозов (в изданиях «Литературного фонда» и т-ва «Просвещения»), Л. И. Поливанов (в собственном издании), Н. О. Лернер (в издании «Брокгауза и Ефрона»), В. Я. Брюсов (в издании «Государственного издательства») и др. Так, Н. О. Лернер замечает: «Уже одно то, что Пушкин хотел приписать пьесе сначала Мюссе, потом Пиндемонте (она, по свидетельству Анненкова, I, 287, «не имеет ничего общего с обоими выбранными и столь противоположными между собою авторами»), указывает не только на оригинальность пьесы, но и на глубокую ее интимность: так, стихотворению «Цыгань» 1830 г. он дал подзаголовок: «С английского». Делалось это для того, чтобы отвлечь читателя и критику от неосторожных вторжений в личную жизнь писателя, а также, чтобы провести цензуру<sup>1</sup>.

Об источниках своих произведений поэты склонны хранить молчание, и на долю критики выпадает трудная задача установления материала, которым они пользовались. Иначе обстоит дело с Пушкиным: со свойственной ему правдивостью, он нередко указывал свои заимствования, но... ему не хотели верить, считая эти ссылки фиктивными. Как будто боялись умалить «оригинальность» поэта, забывая, что Пушкин всегда остается самим собою, т. е. глубоко оригинальным поэтом, выявляющим не чужое, а свое подлинное художественное и мораль-

<sup>1</sup> Пушкин, изд. Брокгауза и Ефрона, VI, 491—492. Ср. Примечания П. О. Морозова в изд. «Литературного фонда», 1887, II, 188 и т-ва «Просвещения», II, 554, а также издания Л. И. Поливанова (I, 390—391) и В. Я. Брюсова (Гос. изд., 1920, стр. 375).

ное «я», какие бы материалы ни пускались им в ход в процессе творческой работы.

В целом ряде случаев указания Пушкина на его источники подвергались сомнению и отрицанию. Аргументация скептиков оказывается, однако, очень мало убедительной, нося преимущественно догматический характер голословного утверждения. При этом нередко получался своеобразный *circulus vitiosus*: «фиктивность» заголовка «Из Пиндемонте» подтверждалась «фиктивностью» подзаголовка «С английского» в стихотворении «Цыгань» («Над лесистыми берегами»), и наоборот, когда заходила речь об этом втором произведении, критик оправдывал себя ссылкой на первое. Точно так же «фальшивая ссылка» на А. Шенбе в стихотворении «Каков я прежде был» доказывалась указанием на те же пьесы — «Из Пиндемонте» и «Цыгань»<sup>1</sup>.

Наступило, кажется, время радикальной проверки всех случаев пушкинских ссылок на источники, считаемых обыкновенно, хотя и без достаточного основания, фиктивными. И такая проверка уже началась. После статьи Н. В. Яковлева: «К вопросу об английских источниках стихотворения Пушкина «Цыгань» («Над лесистыми берегами»), напечатанной в XXXVI выпуске изд. «Пушкин и его современники» (Петроград, 1923), вряд ли можно утверждать, что подзаголовок «С английского» совершенно фиктивен.

Очередь за стихотворением «Недорого ценю я громкие права». Мой доклад имеет целью доказать, что, вопреки общепринятому мнению, ссылка Пушкина на Мюссе и Пиндемонте отнюдь не является фиктивной, что поэт имел достаточное основание поставить в заголовке имена этих писателей, так как в творчестве их нашел созвучные себе мотивы.

## I

Начну с французского поэта. Известно, что Мюссе был любимцем Пушкина, который ставил его решительно

<sup>1</sup> Пушкин в изд. Брокгауза и Ефрона, т. IV, стр. LXVII, примечания Н. О. Лернера.

выше всех французских романтиков. От первенца вдохновенной музы Мюссе «Les contes d'Espagne et d'Italie», появившихся в 1829 году и сразу обративших на него внимание, Пушкин был в полном восторге. В 1830 г. в Болдине он записал: «Между тем как сладкозвучный, но однообразный Ламартин готовил новые благочестивые размышления под залуженным названием «Harmonies religieuses»; между тем как важный Виктор Гюго издавал свои блестящие, хотя и натянутые Восточные стихотворения («Les Orientales»); между тем как бедный скептик Делорм воскресал в виде исправляющегося неопита, и строгость приличий была объявлена в приказе по всей французской литературе,—вдруг явился молодой поэт с книжечкой сказок и песен и произвел недоумение... Как приняли молодого проказника? За него страшно. Кажется, видишь негодование журналов и все ферулы, поднятые на него. Ничуть не бывало. Откровенная шалость любезного повесы так изумила, так понравилась, что крипика не только его не побранила, но еще сама взялась его оправдать... Итальянские и испанские сказки Мюссе опличаются живостью необыкновенной. Из них *Portia*, кажется, имеет более всего достоинства: сцена ночного свидания, картина ревнивца, поседевшего вдруг, разговор двух любовников на море, все это прелесть. Драматический очерк: «Les matrons du feu» обещает Франции романтического трагика...»<sup>1</sup>

Крипическая пронзительность Пушкина блестяще оправдалась: вскоре Мюссе подарил литературу целым рядом прекрасных драм, из которых особенно выделяется «Лорензаччо» (1834) — талантливейшая, по убеждению французских криптиков, французская трагедия в шекспировском духе.

В 1831 г. появился второй сборник произведений Мюссе «Poésies diverses», а в 1833 г.— третий, под оригинальным заглавием: «Le spectacle dans un fauteuil» («Спектакль в

<sup>1</sup> П. В. Анненков, Материалы к биографии А. С. Пушкина, СПб, 1873, стр. 287—288 и прим.

кресле»), в которых молодой поэт (ему едва минуло 20 лет) еще более развернул свой замечательный, глубоко лирический и необычайно искренний талант. По свидетельству С. П. Шевырева, именно этот третий сборник (в состав которого вошли пьесы «La Courte et les Lèvres» и «A quoi rêvent les jeunes filles», а также поэма «Naioupa») особенно нравился Пушкину <sup>1</sup>.

Увлечение молодым французским поэтом разделял и кн. П. А. Вяземский, писавший А. И. Тургеневу в Париж 25 января 1836 г.: «Альфред Мюссе решительно головою выше в современной фаланге французских литераторов. Познакомься с ним и скажи ему, что мы с Пушкиным угадали в нем великого поэта, когда он еще шалил и faisait ses farces dans «Les contes espagnoles» <sup>2</sup>.

В библиотеке Пушкина сохранились почти все произведения Мюссе, изданные с 1830 по 1836 год включительно, в том числе «La confession d'un enfant du siècle» (1836) <sup>3</sup>. Читая «Logensaccio», он мог лично убедиться, что его предсказание о трагическом таланте Мюссе оправдалось самым блестящим образом. Успел ли Пушкин познакомиться с истинным chef d'oeuvre'ом лирики Мюссе, его «Ночами» (первая из них — «La Nuit de mai» — была написана в 1835 г., а последняя — «La Nuit d'octobre» — в 1837), мы не знаем. Основанное на одном черновом наброске Пушкина <sup>4</sup> предположение некоторых критиков, будто поэт задумывал даже написать статью о «Ночах», обязано своим происхождением неверному чтению неразборчивой рукописи, в которой усматривали то «Fables de nuit», то «Tableaux de nuit», тогда как в действительности там читается: Musset, Table de nuit. Здесь Пушкин имел, очевидно, в виду

<sup>1</sup> Л. Н. Майков, Историко-литературные очерки, Спб., 1895, ст. «Воспоминания Шевырева о Пушкине», стр. 187.

<sup>2</sup> Остафьевский архив, т. III, стр. 289.

<sup>3</sup> В каталоге библиотеки Пушкина они значатся под №№ 1203—1207. «Пушкин и его современники», IX—X, стр. 297—298.

<sup>4</sup> Пушкин, изд. Брокгауза и Ефрона, т. V, стр. 433, № 1025.

роман Поля Мюссе (брата Альфреда) «La Table de nuit» (Paris, Renduel, 1832) <sup>1</sup>.

По счастливому выражению Д. Н. Овсяннико-Куликовского, Пушкин был «превосходный читатель». Действительно, все запечатлевалось, говоря словами Гамлета, «на таблицах его памяти», все служило его творческим целям, ожидая своей очереди, ничто не пропадало даром. Поэтому сам собою возникает вопрос: не опрали ли в его собственной поэзии впечатления, полученные от талантливого французского лирика?

Чуткое ухо Анненкова уловило «аккорд, напоминающий Альфреда де-Мюссе» в стихотворении «Паж, или пятнадцатый год» (1830) <sup>2</sup>. Критик, однако, не указал, какое именно стихотворение Мюссе имелось им в виду. Пьеса Пушкина ближе всего напоминает песенку Фортунио (юноши клерка, влюбленного в жену своего патрона — нотариуса) в оспроумной и бойкой, выдержанной в несколько фривольных тонах новелл Бокаччо и разыгрывающейся в Ипалии комедии Мюссе «Le Chandelier» («Подсвечник»). Как пушкинский «паж», Фортунио готов умереть за «даму сердца», но ни за что не откроет ее имени:

Si vous croyez que je vais dire  
 Qui j'ose aimer,  
 Je ne saurais, pour un empire,  
 Vous la nommer...

Je fais ce que sa fantaisie  
 Veut m'ordonner,  
 Et je puis, s'il faut ma vie,  
 La lui donner...

Mais j'aime trop pour que je die  
 Qui j'ose aimer,  
 Et je veux mourir pour ma vie  
 Sans la nommer.

<sup>1</sup> На ошибочность прежнего чтения мне любезно указал П. Е. Рейнбош.

<sup>2</sup> Материалы к биографии Пушкина, стр. 298.



Ср. у Пушкина:

Я нравлюсь дамам, ибо скромн,  
И между ними естъ одна...  
И гордый взор ее так помен,  
И цвет ланит ее так темен,  
Что жизни мне милей она...  
Она готова хотъ в пустыню  
Бежать со мной, презрев толпу.  
Хотите знать мою богиню,  
Мою севильскую графиню...  
Нет, ни за что не назову!

Хотя названная комедия Мюссе была издана в полном своем виде только в 1835 г., но есть основание предполагать, что песенка Фортунио, переложенная на музыку и ставшая популярным романсом, проникла в печать значительно ранее.

«Аккорд» из Мюссе звучит в стихотворении Пушкина, вдохновленном, как мне кажется, всего более другим французским писателем — «веселым, колким» Бомарше, как назван он в «Послании к Юсупову». Устами Моцарта Пушкин восхвалял «Женитьбу Фигаро» как превосходное средство разгонять тоску, равносильное бутылке шампанского. Эпиграфом к стихотворению «Паж, или пятнадцатый год»: «C'est l'âge de Chérubin» Пушкин, несомненно, намекает на оптимальный пункт своего вдохновения, имея в виду пип пажа Керубино, так мастерски обрисованный Бомарше<sup>1</sup>. Весь колорит у него испанский: героиня «севильская графиня», точно графиня Альмавива в «Свадьбе Фигаро». Это как будто pendant к известной песенке, которую поет влюбленный Керубино.

В. Я. Брюсов утверждал, что образцом для «Домика в Коломне», наряду с «Беппо» Байрона, послужила также «Намуна» Мюссе, и старался проследить отголоски этой последней (см. его предисловие к «Домику в Коломне»

<sup>1</sup> В «Сочинениях Пушкина», изд. Государственным издательством под редакцией В. Я. Брюсова, этот эпиграф переведен чересчур своеобразно: «Это возраст херувима» (sic!).

в изд. Брокгауза и Ефрона). Однако труд критика потрачен совершенно напрасно: «Домик в Коломне», как значится на рукописи, был окончен 10 октября 1830 г., между тем «Намуна» была написана в декабре 1832 г. (собственноручная пометка Мюссе), а напечатана в 1833 г., в составе сборника «Le spectacle dans un fauteuil». Таким образом, «Намуна» не могла быть известна Пушкину, когда он писал «Домик в Коломне»<sup>1</sup>.

Можно предполагать влияние другой поэмы Мюссе — «*Magdoche*» (из сборника «*Les contes d'Espagne et d'Italie*» 1829), о которой Пушкин писал: «В повести «*Magdoche*» Musset — первый из французских поэтов — умел схватить тон Байрона в его шуточных произведениях, что вовсе не шутка. Если мы будем понимать слова Горация: *Difficile est proproia communia dicere*, как понял их английский поэт в эпиграфе к «Дон-Жуану», то мы согласимся с мнением: трудно прилично выражать обыкновенные предметы»<sup>2</sup>.

Пример Байрона и Мюссе, повидимому, и был использован Пушкиным, когда ему пришлось *proproia communia dicere* в «Домике в Коломне». Собственно говоря, Пушкин раньше Мюссе, в «Евгении Онегине» и «Графе Нулине», «схватил тон Байрона в его шуточных произведениях». «*Magdoche*» Мюссе показал ему новый пример мастерского владения эпитим «поном», остроумно-шутливым, с лирическими отступлениями, искусно вплетенными в ткань рассказа, и, может быть, ускорил осуществление «Домика в Коломне», в котором чувствуются легкие аккорды Мюссе. По этому поводу можно заметить, что никто из многочисленных поклонников Байрона не состязался с ним так блестяще в умении владеть в совершенстве эпитим «поном», как Мюссе и Пушкин.

<sup>1</sup> Так как «Домик в Коломне» был напечатан только в 1833 г., нельзя отрицать возможности внесения небольших поправок в окончательный текст под впечатлением только что обнаруженной «Намуны».

<sup>2</sup> Анненков, Материалы, стр. 288.

Можно сделать еще одно предположение: не оказал ли Мюссе влияния на один черновой, совершенно не отделанный набросок Пушкина, найденный И. А. Шляпкиным и относимый к последним годам жизни поэта (1834—1836)? Дело идет о каком-то старце, который сыграл дурную роль в жизни автора. Текст представляется приблизительно в таком виде:

С очами быстрыми (или впалыми), завистливыми злобно.  
С устами, сжатыми цинической улыбкой,  
С плешивым черепом...  
Еще в ребячестве моем  
Я старцу в сеть попал  
Я встретил старика с плешивой головой.

Предположение П. О. Морозова, что здесь говорится о Вольтере, весьма вероятно. Повидимому, Пушкин имел в виду известное обращение Мюссе к Вольтеру в начале поэмы «Rolla», в котором поэт резко подчеркивает отрицательное влияние «циника поседелого» на молодое поколение, бичует его за то, что он разрушал веру в идеалы, уничтожал религию, опустошал душу грубым эпикуреизмом:

Dors-tu content, Voltaire, et ton hideux sourire  
Vollige-t-il encor sur tes os décharnés?  
Ton siècle était, dit-on, trop jeune pour te lire;  
Le nôtre doit te plaire, et tes hommes sont nés...

Жертвой Вольтера считал Мюссе своего беспутного героя, оканчивающего самоубийством, после того как он прокутил наследство:

Vois-tu, viel Arouet? Cet homme plein de vie,  
Sera couché demain dans un étroit tombeau...  
Sois tranquille, il l'a lu. Rien ne peut lui donner  
Ni consolation, ni lueur d'espérance.  
Si l'incrédulité devient une science,  
On parlera de Jacques et, sans la profaner,  
Dans ta tombe, ce soir, tu pourrais l'emmener...  
Voilà pourtant ton oeuvre, Arouet, voilà l'homme  
Tel que tu l'as voulu.

Возможно, что Пушкин задумал свое стихотворение именно под впечатлением эпих строк. Тут замечается какой-то новый подход в Вольтеру, всегдашнему его любимцу. Правда, и к прежним отзывам Пушкина о Вольтере прибавлялись некоторые осуждения, но вопроса об отрицательном влиянии философии «фернейского паприарха» на молодежь Пушкин еще не касался. Известная роль Мюссе в такой перемене во взгляде возможна. Параллельно с этим идут отзывы, относящиеся к 1836 г. В статье о Вольтере («Современник», 1836, кн. III) поэт осуждает нравственную личность Вольтера; ему ставится в упрек «отсутствие самоуважения», то, что «он никогда не умел сохранить своего собственного достоинства», почему «его лавры обрызганы грязью». В другой статье, напечатанной уже после смерти Пушкина в VI кн. «Современника» за 1837 г., поэт с очевидным сочувствием цитирует сделанную одним английским журналистом отрицательную оценку вольтеровской «Орлеанской девственницы», которую раньше он ставил очень высоко. Таким образом, только в последние годы жизни Пушкин посмотрел на Вольтера иначе, чем прежде, а именно глазами Мюссе.

## II

Обратимся к стихотворению «Недорого ценю я громкие права».

Сославшись первоначально на Musset, Пушкин, очевидно, имел в виду стихотворение, в котором затрагивается основной мотив его пьесы. Это «Dédicace à M. Alfred T.» (т. е. Taffet, друг Мюссе), предшествующее драме «La Coupe et les Lèvres» («Чаша и уста»), вошедшей в состав того самого сборника «Le spectacle dans un fauteuil», который, по словам Шевырева, особенно ценился Пушкиным. Это profession de foi французского поэта, которым он ответил на упреки в индифферентности к вопросам политики, общественной жизни, религии и т. д. Франция переживала Июльскую революцию. Страсти были воз-

бужден<sup>1</sup>. Большинство романтиков, с Гюго во главе («Гюго с поварищи», как выражался Пушкин), бросились в политическую борьбу и не могли простить юному Мюссе, что он стоял далеко от политической арены и не выказывал ей сочувствия. В духе легкой сатиры и тонкой иронии отвечает Мюссе на эти упреки, поддерживая свою позицию, которая приблизительно совпадает с пушкинским *credo*:

Не для житейского волнения,  
Не для корысти, не для битв,  
Мы рождены для вдохновения,  
Для звуков сладких и молитв...

К занятиям политической деятельностью Мюссе относится отрицательно, не находя в ней ничего привлекательного для себя:

Je ne suis pas fait écrivain politique,  
N'étant pas amoureux de la place publique.  
D'ailleurs il n'entre pas dans mes prétentions  
D'être l'homme du siècle et de ses passions.  
C'est un triste métier que de suivre la foule...

Далее поэт подчеркивает изменчивость и неустойчивость политических убеждений у многих:

Que de gens aujourd'hui chantent la liberté  
Comme ils chantaient les rois, ou l'homme du brumaire!  
C'est peut-être un métier charmant, mais tel qu'il est,  
Si vous le trouvez beau, moi, je le trouve laid.  
Je n'ai jamais chanté ni la paix, ni la guerre;  
Si mon siècle se trompe, il ne m'importe guère!  
Tant mieux s'il a raison, et tant pis s'il a tort.

Все это вполне совпадает по мысли с первой половиной стихотворения Пушкина, «отрицательной» (по выражению Овсяннико-Куликовского), выдержанной, прибавлю от себя, в таком же духе иронии, как у Мюссе.

<sup>1</sup> В черновой рукописи стихотворение Пушкина начиналось следующими стихами, зачеркнутыми при окончательной редакции:

При звучных именах Равенства и Свободы,  
Как будто опьянев, беснуются народы.

См. М. Гофман, Посмертные стихотворения Пушкина.

Не дорого ценю я громкие права,  
От коих не одна кружится голова.  
Я не ропщу о том, что отказали боги  
Мне в сладкой участи оспаривать налоги,  
Или мешать царям друг с другом воевать.

Повидимому, Пушкин использовал отчасти другое стихотворение Мюссе, напечатанное позже, в 1835 г.: «La loi sur la presse», в котором осмеивается закон о цензуре, изданный правительством Тьера. Отголосок этого стихотворения как будто слышится в стихах:

И мало горя мне, свободно ли печать  
Морочит олухов, иль чуткая цензура  
В журнальных замыслах стесняет балагура.

В этой первой части стихотворения Пушкин цитирует гамлетовское выражение: «слова, слова, слова». Вряд ли является случайным совпадением то, что Мюссе в «Dédicace à M. Alfred Tattet» приводит две цитаты, хотя и другие, но из того же «Гамлета» (о любви его к Офелии «Сомневайся в солнце, в луне и звездах, но не сомневайся в моей любви» и т. д. и выражение: «Man delights me not, sir, nor woman neither»).

В черновике Пушкин написал сначала (как видно из рукописи): «Как Гамлет» (у Мюссе: Comme Hamlet), но затем зачеркнул эти слова и написал:

Все это, видите ль, слова, слова, слова,

а имя Гамлета перенес в выноску <sup>1</sup>.

Следующие за тем четыре строки пушкинского стихотворения резюмируют содержание первой — отрицательной части и служат переходом ко второй — положительной:

Иные, лучшие мне дороги права,  
Иная, лучшая потребна мне свобода.  
Зависеть от властей <sup>2</sup>, зависеть от народа —  
Не все ли нам равно? Бог с ними!

<sup>1</sup> С текстом Мюссе сближают некоторые любопытные варианты рукописи (И с кафедры): «И мало нужды мне, что \*\* иль \*\*...»

<sup>2</sup> Вариант: царей.

Так же и Мюссе ценил более иные права, ему нужна иная свобода, чем перечисленные выше, его так же тяготит зависимость от какой бы то ни было формы правления: индивидуальная свобода для него выше всего.

Что касается эпой, положительной части стихотворения, которую я назвал бы патетической, то выраженные в ней чувства и мысли так же соответствуют тому, что мы находим в «Dédicace» Мюссе. Французский поэт возвышал принцип личной независимости: «La fortune pour moi n'est que la liberté»,—также предпочитал всему любовь к природе и искусству:

Vous me demanderez si j'aime la nature,  
Oui,—j'aime fort aussi les arts et la peinture.  
Le corps de Vénus me paraît merveilleux...

Далее следует пространный и восторженный панегирик искусству и его жрецам, вроде Рафаэля, Микель Анджело Кальдерона, «божественного» Шекспира и др. Высоко ставится также назначение истинного поэта, стоящего выше мимолетных мелочей пекущей злобы дня:

Un artiste est un homme,—il écrit pour les hommes.  
Pour prêtresse du temple il a la liberté;  
Pour trépied l'univers; pour éléments la vie;  
Pour encens la douleur, l'amour et l'harmonie;  
Pour victime son coeur, pour dieu la vérité.

В полном созвучии с высоким предсказанием Мюссе о поэте, с его жаждой личной независимости, с его преклонением перед искусством находится патетическая часть пушкинского стихотворения:

Никому  
Отчета не давать, себе лишь самому  
Служить и угождать; для власти, для ливреи  
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи,  
По прихоти своей скидаться здесь и там,

Дивясь божественным природы красотам,  
И пред созданьями искусств и вдохновенья  
Трепеща радостно <sup>1</sup> в восторгах умиленья —  
Вот счастье! вот права...

Таким образом, у Мюссе мы находим все основное содержание стихотворения «Не дорого ценю я громкие права»: противоположение политической свободы и политических прав нравственной свободе и независимости личности, с предпочтением этих последних двум первым; свобода индивидуального самоопределения, наряду с восхищением природой и служением искусству, выступают идеалом жизни.

Ясно, что первоначальная ссылка Пушкина на Мюссе в заголовке его стихотворения вовсе не была фиктивной и случайной: у французского поэта он нашел созвучное себе наспрозние по данному вопросу и ряд сочувственных мотивов <sup>2</sup>.

### III

Обратимся теперь ко второму, итальянскому источнику стихотворения, на который указывает Пушкин в окончательной редакции. Кто же был этот загадочный Пиндемонте, так инприговавший нашу критику, которая

<sup>1</sup> Так читаем в чистой рукописи вместо зачеркнутого *Безмолвно утопай*.

<sup>2</sup> Сборник «Le spectacle dans un fauteuil» вышел в 1834 г. Этим определяется terminus a quo пушкинского стихотворения, которое, таким образом, относится к двум последним годам жизни поэта. Заметим, что в черновике его (Майковское собрание, папка № 76, 77, листы 83—84) после стихов: «Пред силою законной не гнушь ни совести, ни мысли непреклонной» следует стихотворение: «Напрасно я бегу к Сионским высотам. Грех алчный гонится за мною по пятам» и т. д., всего шесть строк, за которыми набросан рисунок, изображающий льва, который «следит оленя бег пахучий». Таким образом, дата этого последнего стихотворения должна быть также определена 1834—1836 гг. Весьма возможно, что оба стихотворения написаны в 1835 г., так как стихотворение «Из Пиндемонте» находится в песной идейной зависимости с упомянутым выше и датированным этим годом стихотворением. Автограф стихотворения «Напрасно я бегу» оставался до сих пор неизвестным.



старалась оградить русского поэта от всякой тени подозрения в духовном общении с ним?

История италийской литературы занесла на свои страницы двух братьев Пиндемонте, уроженцев Вероны: Джованни и Ипполито. Джованни Пиндемонте (1751—1812) был автором довольно посредственных трагедий, в которых подражал Вольтеру и Альфиери, насыщая их, подобно этим писателям, проповедью политической свободы. Большую известностью он не пользовался.

Младший брат его, Ипполито Пиндемонте, значительно превышавший его талантом, был, напротив того, в свое время очень видным поэтом, имя которого обычно ставилось рядом с именами таких выдающихся современных писателей, как Альфиери, Уго Фосколо и Монти. Узлы дружбы связывали его со всеми ними. Именно его имел в виду Пушкин.

Ипполито Пиндемонте родился 13 ноября 1753 г. в аристократической семье, питавшей литературные вкусы. Большой любитель путешествий, он в 1788—1790 гг. объехал Швейцарию, Германию, Англию, Голландию и Францию. В 1789 г. в Париже он был свидетелем вместе с Альфиери первых шагов революции, которую и воспел в стихотворении «Франция». Ужасы террора заставили его, однако, круто изменить свое отношение к ней. Свои впечатления от путешествий по Европе он изложил в большом стихотворении «Viaggi», цитату из которого мы найдем у Пушкина. Большую часть жизни, в противоположность своему старшему брату, провел он вдали от политических спрассей, в мирном уединении своего веронского поместья, среди природы, которую спрассно любил. Он умер в Вероне 18 ноября 1828 г.

Италийские критики считают его одним из первых «герольдов романпизма» в Италии<sup>1</sup>. Он — «романпик в одежде классика». Историческая роль его в италийской литературе приблизительно такая же, какая в на-

<sup>1</sup> Ср. Finzi, *Lezioni di storia della letteratura italiana*, Torino, 1888, Volume terzo.

шей выпала на долю Жуковского: он так же проходил путь от септименпализма к романпизму. Подобно Жуковскому, он много переводил и преимущественно с английского и немецкого. Большой поклонник Грея, Томсона, Юнга, Блэра, Коллинза, он был в личных дружественных отношениях с некоторыми из них. Англичане называли его «ипальянским Греем» с неменьшим правом, чем мы могли бы назвать Жуковского — «русским Греем». Его истинная муза — септименпальная (с легким оппенком «мировой скорби») меланхолия, прославлению которой он посвятил особую оду («La melancopia»). Его «Poesie campestri» (1788) напоминают «Времена года» Томсона, а трагедия «Арминий» (1804), сюжет которой взят из древнегерманских преданий, полна отголосков поэзии Оссиана.

Поэмой «I serolci» («Гробницы»), которою он отвечал на посвященную ему поэму Уго Фосколо под тем же заглавием, считающуюся самым замечательным созданием автора «Последних писем Якопо Орписи», Пиндемонте опять-таки примкнул к английскому печению «кладбищенской» поэзии, «поэзии гробниц», представленному «Ночными думами» Юнга, «Сельским кладбищем» Грея, «Могилами» Гервея и Блэра и др. Сравнение поэм Уго Фосколо и Пиндемонте на одну и ту же тему — обычное явление в ипальянской критике.

Увлекаясь печениями, подготавливавшими романтизм, Пиндемонте в то же время пипал живые классические симпатии. Прекрасно зная древние языки, он даже писал стихопворения по-латыни. Многочисленны отголоски римских поэтов в его творчестве. Его «Sermoni» (1819) напоминают «Сапирь» Горация. Им переведена часть «Георгик» Виргилия, но главной его заслугой многие критики считают образцовый перевод «Одиссеи» (1822). Новый пункт сходства с Жуковским! Преимущество Пиндемонте в том, что он переводил не с немецкого подстрочника, как наш поэт, а с греческого языка, который знал в совершенстве.

Будучи на прицать лет старше автора «Светлань», ипальянский «герольд романтизма» был еще теснее связан

с литературной традицией XVIII века и еще менее уверенно шествовал по пути, который пролагала романтическая школа. Чем-то спарожеветным веет от его поэзии, сильно окрашенной дидактизмом.

Не только положением в литературе, но и всем складом личности Пиндемонте напоминает Жуковского: уравновешенность, мечтательность, религиозность, чувствительность, доброта, известная отрешенность от общественно-политических спараспей—свойственны им обоим<sup>1</sup>.

Высоко ценили Пиндемонте г-жа Сталь<sup>2</sup> и Байрон, то есть как раз те писатели, которые много способствовали возбуждению у Пушкина любви к Италии: первая—своим романом «Коринна или Италия» (1807), второй—четвертой песней «Чайльд-Гарольда» (1817), представляющей настоящий апофеоз Италии, а также другими произведениями с итальянским сюжетом, как «Паризина», «Жалоба Тассо», «Пророчество Данте» и т. д.

В 1817 г., живя в Венеции, Байрон лично познакомился с Пиндемонте и испытал на себе обаяние его симпатичной личности. «Сегодня (писал он 4 июня 1817 г. Мэррею) посетил меня Пиндемонте, прославленный веронский поэт. Это—мужчина небольшого роста, худощавый, с острыми, но приятными чертами лица; манеры его благородны и изящны; на всей его наружности лежит весьма философский отпечаток; лет ему около шестидесяти или более... В общем это очень милый старый джентльмен»<sup>3</sup>.

В предисловии к четвертой песне «Чайльд-Гарольда», помеченном 2 января 1818 г., Байрон, перечисляя «великие имена» современной Италии, называет только трех поэтов: «Монти, Уго Фосколо, Пиндемонте» (Альфиери умер

<sup>1</sup> Montanari, Storia della vita e delle opere di Ippolito Pindemonte Venezia, 1834, 2-е изд., 1866.— Peri, Ipp. Pindemonte. 2-е изд., 1905.— Biadego, Da libri e manoscritti, Verona, 1883.— Zanella, Paralleli letterari, Verona, 1885.— То г г а с а, Discorsi e Ricerche. 1888.— О в э т т, История итальянской литературы. Пер. С. И. Соболевского, М., 1922.

<sup>2</sup> Mengin, L'Italie des romantiques, P., 1902.

<sup>3</sup> The Works of Lord Byron. Letters and Journals. Ed. by R. Prothero, L., 1900, Vol. IV, pp. 127—128.

еще в 1803 г.). В следующем году в предисловии к «Пророчеству Данте» (1819) поэт снова ставит рядом имена Монти и Пиндемонте. Наконец, в сапире «Бронзовый век» (1823), обращаясь к Вероне, Байрон называет Пиндемонте наследником славы Капулла, уроженца того же города:

И твой Капулл, чьи лавры, чей венец  
Теперь воздел уже иной певец...

Так же тесно соединяют имена Вероны и Пиндемонте, относясь к поэту с большой симпатией, другие английские путешественники: Форсейт («Remarks on Antiquities, Arts etc. of Italy») и Роз («Letters from the North of Italy» 1819, Vol. I, 45). Последний называет Пиндемонте «поэтом, который похитил у заходящего солнца часть лучей, позлащающих еще горизонт Италии»<sup>1</sup>.

Живя в Венеции (1816—1819), Байрон был посетителем салона графини Альбрицци, урожденной Теопоки (1761—1836), замечательной женщины, «венетической m-me de Staël», по его выражению<sup>2</sup>. Здесь несомненно встречался он с Пиндемонте, который был в дружественных отношениях с графиней и посвятил ей несколько стихотворений<sup>3</sup>.

Если к уже сказанному прибавить, что, живя в Париже, Пиндемонте подружился с Андреем Шенье и что Альфieri, высоко ставя его как стилиста, отдавал ему на просмотр свои трагедии, то, в конце концов, нельзя не прийти к заключению, что веронский поэт представлял собою на тогдашнем литературном горизонте довольно заметную фигуру, известную и за пределами Италии.

<sup>1</sup> Ibidem.

<sup>2</sup> «Letters and Journals». Vol. IV, 29. Письмо к Томасу Муру от 24 декабря 1816 г.

<sup>3</sup> Как писательница, Альбрицци-Теопоки известна монографией о знаменитом скульпторе Канове: «Opere di scultura e di plastica di A. A. Canova descritte da J. A.», (Firenze, 1809, Pisa, 1821—1825) и «Портретами» (Ritratti) видных посетителей ее салона, в том числе и Байрона. Ср. M a l a n i, Isabella Teofochi Albrizzi, 1882.

IV

Все это, взятое вместе, объясняет возможность вовлечения Пиндемонте в круг литературных интересов Пушкина. Произошло это на юге, где поэт начал изучать италийский язык<sup>1</sup>. Повидимому, Пиндемонте был одним из первых италийских поэтов, ставших известными ему в оригинале.

Давно уже Анненков указал на тот факт, что «Кавказский пленник» (1821) был украшен в рукописи италийским эпиграфом из Пиндемонте и немецким: «Sieb meine Jugend mir zurück» из Гёте, опущенными в печати. Италийский эпиграф взят из упомянутого стихотворения Пиндемонте «Viaggi» («Путешествия») и звучит так:

Oh! felice chi mai non pose il piede  
Fuori della nativa sua dolce terra.  
Egli il cor no lascia fitto in oggetti  
Che di più riveder non a speranza,  
E ciò, che vive, morto non piange<sup>2</sup>.

Мало того. Можно указать еще несколько отголосков из Пиндемонте в стихотворениях Пушкина, относящихся ко времени его ссылки. Возможно, что поощряющим примером для стихотворения «К Овидию» (1821) послужили аналогичные «послания» (epistole) «К Виргилию» (1809), «К Гомеру» (1809) Пиндемонте, большого знаатока и поклонника древней литературы.

Отголоски из Пиндемонте слышатся и в стихотворении «Андрей Шенбе» (1825). Для объяснения этого факта следует припомнить, что Пиндемонте переживал начало фран-

<sup>1</sup> Ср. Анненков, Материалы к биографии Пушкина, СПб, 1873, стр. 89. О знании Пушкиным италийского языка см. мой этюд «Пушкин и Данте» («Пушкин и его современники», вып. XXXVII, 1928.) Наряду с Ю. Верховским и В. Брюсовым, этот вопрос решает положительно и италийская исследовательница Vera Certo в статье: «Puškin e la lingua italiana» («Rivista di letteratura slave», giugno 1926, Roma).

<sup>2</sup> «О счастлив тот, кто никогда не переступил за пределы милой родной страны: сердце его не привязывается к предметам, увидев которых снова нет у него надежды, и то, что живет, он не оплакивает как умершее».

цузской революции в Париже в тесном общении и дружбе с Альфиери и Шенбе. Все трое с восторгом приняли ее многообещающее начало и свой энтузиазм увековечили в соответственных стихотворениях: «Parigi sbastigliata» Альфиери (плясавшего в восторге на развалинах Бастилии по словам его секретаря Полидори), «Jeu de raute» Шенбе и «Francia nel 1789» Пиндемонте. Однако, последующий ход событий значительно похладил их энтузиазм, а ужасы террора заставили круто изменить благоприятное отношение к революции, что также нашло отражение в их творчестве: припомним «Misogalo» Альфиери и «Ямбы» и другие стихотворения Шенбе; на ту же тему писал и Пиндемонте.

Сравнивая стихотворение «Андрей Шенбе» с такими произведениями Пиндемонте, как поэма «Франция в 1789» или сонеты: «Per l'albero della libertà, in Parigi» «In morte di Luigi XVI re di Francia» (два сонета), «In morte della regina Maria Antonietta» и, наконец, «Epistola ad Alessandra Lubomirski» (напоминающее «La jeune captive» Шенбе), мы находим не только одинаковое отношение к событиям революции, но местами даже сходство в образах и выражениях <sup>1</sup>.

В том же 1825 г., к которому относится стихотворение «Андрей Шенбе», вышел по инициативе кн. Орлова в Париже перевод басен Крылова на французский и италийский языки с предисловием Лемонте и Сальфи <sup>2</sup>. В числе италийских переводчиков мы находим знаменитого драматурга

<sup>1</sup> Подробнее я касаюсь этого вопроса, а также некоторых других отголосков из Пиндемонте в подготовляемой к печати работе «Пушкин и италийские поэты».

<sup>2</sup> «Fables russes tirées du recueil de M. Kriloff et imitées en vers français et italiens par divers auteurs; précédées d'une introduction française de M. Lemontey et d'une préface italienne de M. Salfi; publiées par M. le comte Orloff, Paris, 1825, 2 t. in 8. Все переводы и подражания сопровождаются русским текстом en regard. К книге приложен портрет Крылова и пять гравюр. Из французских участников отметим Руже де-Лилля, автора «Марселезы», переведшего басню «Гуси», Мюссе-Патэ (отца Альфреда Мюссе) — «Обезьяна», Подбе и Казимира Делавиня. Конечно, все пользовались французским подстрочником.

Николини («Крестьянин в беде» — «Il contadino caduto in miseria»), Монти («Осел и мужик» — «Il Villano e l'Asino», «Мешок» — «Il sacco» и «Волк и кукушка» — «Il lupo e il cuculo») и Пиндемонте. Последний перевел «Две бочки», «Le due botti» (I,243) и «Крестьянин и попор» — «Il Villano e l'asce» (II,207).

Предисловие Лемонте появилось в русском переводе в «Сыне отечества» 1825 г. (ч. С, II) и вызвало рецензию Пушкина в «Московском телеграфе» того же года, № 17: «О предисловии г. Лемонте к переводу басен И. А. Крылова». Правда, Пушкин оговаривается, что еще не видел французского подлинника, но есть основания предполагать, что перевод Крылова все-таки попал позже ему в руки. Этот факт мог лишний раз напомнить Пушкину о Пиндемонте. Надо иметь в виду, что итальянский поэт интересовался Россией и русскими, о которых нередко заводил речь. Так, в поэме «Путешествия», написанной еще в конце XVIII в. (1793), он осмеивает русских туристов типа фонвизинского Иванушки, наводняющих Европу и усваивающих себе только внешний лоск цивилизации<sup>1</sup>. Этот эпизод поэмы как раз предшествует тем строкам, которые Пушкин выбрал эпиграфом к «Кавказскому пленнику».

Таким образом, оказывается, что когда Пушкин цитал стихотворение «Не дорого ценю я громкие права», Пиндемонте вовсе не был новым для него писателем. Ставя в заголовке имя итальянского поэта, Пушкин, очевидно, имел в виду одну из его так называемых «Sermoni» (так сказать, поэтических проповедей), озаглавленную «Le opinioni politiche» («Политические мнения»)<sup>2</sup>.

Здесь итальянский поэт, хороший знаток английской литературы, вдохновляется идеей, высказанной прославленным автором «Векфильдского священника» Оливером

<sup>1</sup> Le Poesie originali di Ippolito Pindemonte pubblicate per cura del Dott. Alessandro Torri con un Discorso di Pietro Dal Rio, Firenze, Barbera Bianchi Comp., 1858, стр. 346—347.

<sup>2</sup> Ibidem, стр. 306—311.

Гольдсмитом в его поэме «The Traveller, or a Prospect of Society» — «Путешественник или вопрос об общественном устройстве», 1765). Эта идея выражена в следующих стихах Гольдсмита, с перевода которых и начинается Пиндемонте свою «Sermon»:

In ev'ry governement, though terrors reign,  
Though tyrant Kings, or tyrant Laws restrain,  
How small of all that human hearts endure,  
That part which Laws or Kings can cause or cure <sup>1</sup>.

п. е. «под каким бы правлением человек ни жил, хотя бы царствовал террор, хотя бы народ угнетали тиранические законы или короли-тираны, — в несчастьях, удручающих наше сердце, как мала доля того зла, которое могут причинить нам короли или законы, или от которого они могут нас исцелить!»

Приведя эту цитату, Пиндемонте продолжает: «Кто говорит таким образом? Может быть, подлый раб, который продажною речью льстит абсолютной власти, при которой он родился? Нет, это говорит уроженец страны, которая давно поставила прочные препоны воле монарха: это говорит человек возвышенной и прекрасной души, в котором огонь истинного гражданина пылает не менее сильно, чем пламя муз».

Развивая далее мысль Гольдсмита, Пиндемонте приводит примеры людей, которые ставят свое благополучие в зависимость от общественно-политических форм, и опровергает их. Вот Эвандр, который «в душе своей лелеет мечту о таком гражданском строе, который, по его мнению, один только может дать ему высокое счастье в каждодневной жизни»:

Evandro entro il suo spirito  
Un civile di cose ordin vagheggia,  
Per cui sol pargli, che nel grembo d'alta  
Felicità gli scorreriano i giorni.

<sup>1</sup> Ibidem.



Вот Флоро, который во всех своих несчastьях обвиняет правительство, под властью которого он живет:

Oh reo governo, sotto il qual si vive!

Вот Бриджита, делающая государственный строй ответственным за все даже мелочные неприятности личной жизни и «оглушающая знакомых речами о национальном представительстве, о разделении властей, о равновесии сил или о сосредоточении их в одной руке».

Автор не думает отрицать влияния правительства на народ и на степень его благополучия, но «не боится утверждать», что истинное «счастье есть божество которое не обитает в городах, на форуме, в государственных палатах или при дворах, а ютится преимущественно в стенах частного жилища и более в душе, чем во вне»

Felicità, no, non è Dea, che tanto  
Nella città, nel Foro e ne'palagi  
Pubblici, o nelle corti, abbia soggiorno,  
Quanto albergar tra le private suole  
Domestiche pareti, e in quel dell'alma  
Più ancor che nel domestico recinto.

А между тем, «мы ищем счастья во-вне, и один мечтает найти его под сенью трона, другой — в палате nobилей, претний — в народном собрании» и т. д.:

Noi di fuor la <sup>1</sup> cerchiamo e chi trovarla  
Crede all'ombra d'un trono, in assemblea  
Nobile un altro, un altro in popolare...

От такой ошибки предостерегает поэт. Внутренняя свобода духа и независимость личности стоят, в его глазах, гораздо выше, чем политические права.

В другом стихотворении, дополняющем первое, — «Удар в колокол св. Марка в Венеции» («Il Colpo di Martello nel campanile di San Marco in Venezia» 1820), Пиндемонте, развивая

<sup>1</sup> Т. е. felicità — счастье.

ту же мысль, употребляет выражение, которое буквально повторяется Пушкиным:

un'altra dunque  
Piu necessaria liberta ti tallo <sup>1</sup>

Ср. у Пушкина: «Иная, лучшая по потребна мне свобода».

«Такая свобода,— продолжает италийский поэт,— залегает в душе и сопровождает человека всюду: в пустынях Африки, на Черном море, на берегах Евфрата, Инда и Ганга; это та свобода, без которой человек остается рабом и на троне и которая не покидает его в оковах»:

Quella, senza cui schiavo è l'uom sul trono  
E che tra i ceppi non gli mostra il tergo.

Подобно Мюссе, занятие политикой не высоко ценит Пиндемонте: поэзия, искусство и наука стоят, в его глазах, гораздо выше. В стихотворении «Il merito vero» («Истинная заслуга») государственных, военных и политических деятелей он ставит ниже художников, поэтов, ученых. Венки признательности от человечества всего более заслуживают Рафаэль, Микель Анджело, Торквато Тассо, Галилей и т. д. <sup>2</sup>.

И в других произведениях Пиндемонте проявляет себя страстным поклонником искусства. Большой друг Кановы, он посвятил много стихотворений прославлению его статуи и бюстов; они очень напоминают подобные же пьесы у Байрона (в IV песни «Чайльд-Гарольда») и у Пушкина, («Царскосельская статуя» и др.).

Рядом с искусством стояла в его симпатиях природа, восхвалению прелестей которой, ее «бессмертной красоты» — l'infinita beltà della Natura — уделяется очень много места в его поэзии. Ему хотелось бы, чтобы на его надгробном памятнике было прежде всего упомянуто об этой

<sup>1</sup> Le poesie originali di Ippolito Pindemonte, 367.

<sup>2</sup> Ibidem, 316—317.

любви<sup>1</sup>. Его влечет к себе «уединенная», «тихая» жизнь «в сообществе с небесными музами», среди «молчаливых лесов», журчащих вод, укромных долин, «пенистых убежищ», среди «добрых крестьян, невинных птиц и стад»<sup>2</sup>. Уединенную и осмысленную жизнь на лоне природы в кружке избранных друзей он решительно предпочитал той шумной политической деятельности, которой предавались современные ему писатели: Альфиери, Монти, Уго Фосколо, его брат Джованни и многие другие. В вилле под Вероной, вдали от центров политики и прошла большая часть его жизни.

Итак, Пушкин имел полное основание поставить имя Пиндемонте в заголовке своего стихотворения: в «*Le opinioni politiche*» мы находим достаточный параллелизм с первой, отрицательной частью пушкинского стихотворения. Имеется там и подчеркивание независимости личности как высшего блага, как во второй части, положительной, у Пушкина. Хотя в указанном стихотворении Пиндемонте особенно не говорится о наслаждении природой и искусством, но, как мы видели, это обычный мотив его поэзии, ярко проявляющийся во всем его творчестве.

## V

Стихотворение «Не дорого ценю я громкие права» — не текстуальное заимствование и не пассивное подражание, а творческая переработка родственных мотивов и звуков, самостоятельно зародившихся в душе Пушкина и встреченных затем у других поэтов. Длинное послание Мюссе и многословная «проповедь» Пиндемонте сконденсированы с необычайной силой, яркостью и сжатостью выражений в небольшое, всего в 21 строчку, лирическое стихотворение, подчеркивающее основную мысль с художественной выпуклостью и лаконичной краткостью. Здесь лишний раз проявляется обычное умение нашего поэта властно и свободно распоряжаться материалами, извлекая из них лишь

<sup>1</sup> Ibidem, «Lago di Ginevra», 395.

<sup>2</sup> Ibidem «Viaggi», 350—351.

наиболее существенное и ценное и выражая его в наилучшей, т. е. наиболее подходящей к сюжету, форме, возводя его «в перл создания».

Естественно возникает вопрос: почему же Пушкин, используя мотивы обоих поэтов, вычеркнул, однако, имя Мюссе из заголовка?

Произошло это оттого, что Мюссе, удовлетворив вполне Пушкина для «отрицательной» части его стихотворения, менее оказался подходящим для второй — «положительной». В начале тридцатых годов Мюссе, почти еще юноша, был скептик, эпикуреец и байронист в полном расцвете своего разочарования. Недаром же он в конце «*Dédicace à M. Alfred Taffet*» с явным удовольствием цитирует слова Гамлета: «*Man delights me not, Sir, nor woman neither*». Он не ставил и не мог спавить вопроса о счастье; его мировая скорбь и скептицизм мешали этому. Кроме того, находясь в периоде «страстей», он превыше всего ставил любовь. Его поэзия — поэзия юности и любви. Правда, он восхвалял искусство, но еще более восхвалял любовь. Наконец, природа у него, парижанина *pur sang*, светского *dandy*, не играет особенно выдающейся роли.

Во всех указанных отношениях Пиндемонте представлял прямую противоположность Мюссе. Человек, рано сложившийся, положительный, с устойчивым мирозерцанием, он был чужд настоящего разочарования, ограничиваясь мягкой меланхолией в пепрарковском вкусе. Он прямо ставил вопрос о счастье — *felicità* — и вполне определенно решал его. Его поэзия — поэзия спокойной житейской мудрости. Любовь играет в ней гораздо меньшую роль, чем природа и искусство.

Таким образом, для «положительной» части стихотворения более подходящим единомышленником Пушкина оказался Пиндемонте. Пушкин также ставил вопрос о счастье и решал его одинаково с итальянским поэтом. Мирозерцание уравновешенного Пиндемонте оказалось более приемлемым для Пушкина в последние годы его жизни, когда у

него так сильно [сказалось стремление к спокойствию, тяга к тихой пристани:

Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит...

Вполне естественно, что имя Мюссе, отражавшего уже пережитый самим Пушкиным фазис жизни, было зачеркнуто и на место его поставлено имя Пиндемонте.

Мне остается объяснить топ спранный и, по мнению некоторых<sup>1</sup>, «непостижимый» заголовок, под которым обыкновенно печатается это стихотворение: «Из VI Пиндемонте». Что обозначает эта римская цифра, вторгающаяся неожиданно в заглавие?

У меня возникли два предположения: 1) Пушкин хотел показать, что имел в виду шестую сергоне Пиндемонте. Правда, в моем позднейшем издании она занимает восьмое место, но не исключена возможность, что в издании, которым пользовался Пушкин, она была шестой в порядке всех сергоні. Проверить это предположение по более ранним изданиям Пиндемонте мне не удалось.

2) Римской цифрой VI Пушкин обозначил лишь порядок, в котором группа его стихотворений должна была быть напечатанной (вероятно, в «Современнике»). Так, стихотворение «Подражание ипальянскому» обозначено им цифрой III, а «Отцы пустынники и жены непорочны» — цифрой II. Для окончательного решения вопроса мне казалось необходимым предположить, что Пушкин, зачеркивая Alfred Musset, принужден был, за недостатком места, написать Пиндемонте как раз вправо от цифры VI, что и повело к ошибочному чтению: «Из VI Пиндемонте».

В настоящее время, познакомившись с подлинною рукописью поэта, принадлежащею Академии наук, я пришел к убеждению, что именно так дело и обстояло. В рукописи легко отличить два различных почерка и различные чернила. Правильным ясным почерком и довольно бледными чернилами поставлена цифра VI и написано все стихо-

<sup>1</sup> Например, Алексея Н. Веселовского.

пворение, без обозначения, откуда оно заимствовано. Это был, очевидно, перебеленный экземпляр. Затем другими чернилами (более черными) и более мелким почерком сделаны исправления в тексте: вместо Безмолвно упоать поставлено Трепеща радостно; вместо пред властью законной, рифмующей с волей непреклонной, исправлено: для власти, для ливреи не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи. Совершенно такими же чернилами и таким же почерком под цифрой VI поставлено в скобках: (Из Alfred Musset). Совершенно ясно в рукописи видно<sup>1</sup>, что, зачеркивая Alfred Musset, Пушкин, за неимением места, вынужден был написать Пиндемонте вправо от цифры VI и эгим ввел в заблуждение всех издателей. Ясно, что цифра VI должна быть выброшена из заголовка.

В заключение позволю себе сделать одно замечание по поводу самого содержания стихотворения «Не дорого ценю я громкие права». Ему совершенно основательно приписывают большую важность для уяснения общественно-политических убеждений Пушкина в конце его жизни. Вопрос этот очень сложный, о нем много писано, и я, конечно, вовсе не намерен входить сейчас в его рассмотрение. Мне хочется только указать, что при обсуждении его необходимо не упускать из виду, что, выражая свое мнение, Пушкин нашел себе опору в созвучном настроении двух иностранных писателей. Сопоставление его взгляда с их взглядами, может быть, даст возможность более верно понять запутанный смысл стихотворения.

Часто это стихотворение считают проявлением «политико-общественного индифференцизма» (Пыпин, Иванов-Разумник и др.) или даже плодом «охранительного» настроения (Алексей Веселовский). Но Пушкина так же трудно зачислить в реакционеры, как Мюссе и Пиндемонте. Мюссе вслед за «Dédicace à M. Alfred Tattet» предпосылает своей

<sup>1</sup> См. прилагаемый снимок с рукописи из собрания Л. Н. Майкова (ср. прим. 2 на стр. 126, цифра 19 среди рукописи — жандармская пометка).



пбесе «La Courte et les Lèvres» воодушевленный панегирик свободе, «священной свободе» (la liberté sacrée), которая свойственна обитателям Альп. Пиндемонте, с своей стороны, энергично возражал против обвинений в отрицании свободных учреждений<sup>1</sup>. Точно так же и Пушкин, вскоре после стихотворения, о котором идет речь, пишет «Памятник», в котором ставит себе в заслугу восславление свободы в свой жестокий век. Да и вся предыдущая деятельность поэта не вяжется с представлением об общественно-политическом индифференцизме.

Смысл заявлений всех трех поэтов — русского, французского и италянского — в том, что выше всего они считают свободу индивидуальную и по независимое служение искусству, для которого они считают себя призванными. Поэтому политическая борьба, «жизнейские волнения», «битвы» отодвигаются для них на второй план; предоставляя все это другим, они подчеркивают те условия, которые, по их убеждению, необходимы для беспрепятственного осуществления ими поэтического таланта.

<sup>1</sup> Il Colpo di Martello nel campanile di san Marco in Venezia.



К ИСТОРИИ СЮЖЕТА РОМАНСА ПУШКИНА  
О БЕДНОМ РЫЦАРЕ



Не может быть сомнений в том, что сюжет пушкинского романа о бедном рыцаре восходит к какой-то обработке средневековой темы о культе Мадонны. Но каковы ближайшие или более отдаленные источники пушкинского романа? Анненков (соч. Пушкина, т. V, стр. 534) предполагал, что мы тут имеем дело с переводом какого-нибудь оригинального провансальского романа. Но как справедливо указывает автор новейшей работы о романе Г. Н. Фрид («История романа Пушкина о бедном рыцаре», сб. «Творческая история» под ред. Н. К. Пиксанова, М., 1927), предположение Анненкова не оправдывается всей историей создания этого стихотворения, как она отразилась в дошедших до нас рукописях. Сам Фрид отказывается что-либо сказать о возможном оригинале пушкинской пьесы. По его словам, и Ю. Г. Оксман, запрошенный по этому поводу, сообщил ему, что в свое время он старался разыскать возможные оригиналы романа, но его поиски не привели ни к какому результату. А между тем в литературе о романе имеются кое-какие наводящие указания. В статье Н. П. Демидова, посвященной «Сценам из рыцарских времен» («Изв. Отд. русск. яз. и слов. Акад. Наук», 1900 г., кн. 2), указываются некоторые совпадения «Сцен» с «Жакерией» Мериме. Автор склонен думать, что и самый роман о бедном рыцаре мог быть внушен Пушкину некоторыми местами той же «Жакерии». Однако сближения, делаемые Демидовым, настолько общи и при том случайны, что на них ни в какой мере полагаться не следует. Ценнее для нас в этом отношении замечка Н. Ф. Сумцова, напечатанная в книге «Пушкин» (Харьков, 1900, стр. 158—162). Здесь читаем: «Пушкин при сочинении романа о рыцаре

руководствовался западно-европейским образцом из ряда средневековых духовных стихов и фавль о рыцарях Марии девы. Известно древне-французское фавль «Du chevalier qui oït la Messe, et Notre-Dame estoit roug lui au tougnoïement» (напеч. в I т. Барбазана и Меона, в 120 стихов). Ближе стоит к романсу Пушкина средневековая легенда о женихе Марии, в 196 стихов, в сборнике духовных стихов Готбе де Куанси (XIII в.). Эта легенда проникла во французские фавль; в сборнике Барбазана и Меона (во II томе) «Du varlet, qui se maria à Notre-Dame, dont ne voit qu'il habitast à autre». Подобного рода духовные стихи существовали и в старинной немецкой литературе. Далее идет краткий пересказ с цитацией двух старонемецких стихотворений — «Marien Ritter» и «Marien briu tegum» (из сборника Hagen «Gesamttabenteuer»), во многом, действительно, напоминающих пушкинскую пьесу. Неясно, почему Сумцов предпочел пересказать старонемецкие стихотворения, не пересказав совершенно упомянутых им текстов старофранцузских, по сюжету очень близких к обоим немецким текстам. Ведь для Пушкина, во всяком случае, естественнее искать источники во французской литературе, а не в немецкой, тем более — старинной.

В этих поисках естественно обратиться прежде всего к описанию пушкинской библиотеки, сделанному Б. Л. Модзалевским. Но, к сожалению, это ознакомление к положительным результатам не приводит. Судя по заглавиям книг, приведенным в каталоге, и принимая в расчет год выхода их в свет, источника пушкинского романа следует искать лишь в двух направлениях: или в пятитомном собрании Legrand d'Aussy. «Fabliaux ou contes, fables et romans du XII-e et du XIII-e siècle». 3-е изд., Париж, 1829 (по каталогу № № 911 и 1085), в котором весь пятый том занят благочестивыми фавль, или в сочинении Sismondi. «De la littérature du Midi de l'Europe», 4 тома, 3-е изд., Париж, 1829 (№ по каталогу — 1391), изобилующем образчиками текстов различных эпох. Но ни у Legrand d'Aussy ни у

Sismondi никаких параллелей к пушкинскому стихотворению не находим. Legrand d'Aussy в основу своего сборника, в качестве источника, положил, между прочим, и популярный сборник Barbisan'a и Méon'a «Fables et contes de poètes français de XI, XII, XIII, XIV et XV-e siècles», на который он и ссылается. Сборник этот пользовался большой популярностью. Новое его издание, в 4 томах, вышло в Париже в 1809 году. У нас нет прямых свидетельств о том, что Пушкин с этой книгой был знаком, но возможность такого знакомства, ввиду распространенности и авторитетности издания, очень вероятна.

Прежде чем перейти к сопоставлениям, дадим несколько фактических справок о судьбе текста стихотворения «Жил на свете...»

Впервые оно было опубликовано уже после смерти Пушкина в 5-й книжке «Современника» за 1837 г. в «Сценах из рыцарских времен» по чистой рукописи, принадлежащей ныне б. Румянцовскому музею (тетрадь № 2384). Эта редакция текста датируется с наибольшей вероятностью 1835 г. В тетради того же музея № 2371 находится более ранняя редакция романа, написанная около 1830 г., начинающаяся словами «Был на свете рыцарь бедный...» Она обширнее по объему окончательной редакции и включает в себе ряд реалистических подробностей, отсутствующих в завершенном тексте стихотворения. Наконец, существует еще третья редакция романа, представляющая собой промежуточный текст по сравнению с обеими рукописями б. Румянцовского музея и находящаяся в парижском собрании А. Ф. Онегина. Все три рукописные текста лучше всего транскрибированы Г. Н. Фридом в указанной статье (некоторые промахи в чтении ранней редакции романа по тетради № 2371 указаны мной в рецензии на книгу «Творческая история». «Печать и революция», 1927, № 2). Фриду принадлежит и наиболее удачная реконструкция ранней редакции текста.

Для наших интересов существенное значение имеют лишь обе крайние редакции — ранняя и окончательная.

В процессе переработок первоначального текста Пушкин не только качественно усовершенствовал свой первоначальный замысел, но и освободил его от ряда реалистических подробностей, дематериализуя самый сюжет стихотворения.

В ранней редакции видение рыцаря конкретизовано:

Путешествуя в Женеву,  
На дороге у креста  
Видел он Марию деву,  
Матерь господа Христа.

В окончательной редакции осталось лишь «виденье непостижное уму», без конкретного его разъяснения.

Исчезло в окончательной отделке также указание на то, что из-за пристрастия к девице Марии рыцарь не переслал отцу, сыну и святому духу, что он умер без участия. Выброшенными оказались и три заключительные строфы:

Между тем как он кончался,  
Бес лукавый подоспел,  
Душу рыцаря собирался  
Утащить он в свой предел.

Он де богу не молился,  
Он не ведал де поста,  
Не путем де волочился  
Он за матушкой Христа.

Но пречистая сердечно  
Заступилась за него.  
И впустила в царство вечно  
Паладина своего <sup>1</sup>.

Обратимся теперь к сборнику Барбазан'а и Меон'а. В нем находим три (а не два, как указывал Сумцов) фавлы, имеющих много общего в своем сюжете с романсом о бедном рыцаре. Рассмотрим эти фавлы в порядке возрастающего приближения к пушкинской пьесе <sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Пользуюсь реконструкцией Г. Н. Фрида.

<sup>2</sup> Помощью при переводе старофранцузских текстов я обязан К. А. Розановой-Марцишевской.

В фавльо «Du chevalier qui ooit la Messe, et Notre-Dame estoit pour lui au tournoient (т. 1, стр. 82–86) рассказывается «о храбром воине, о доблестном рыцаре, который по своему желанию заперся в монастыре ради священных служб в честь девы Марии и ее сына». Этот рыцарь — высокого происхождения, учтивый, мудрый и храбрый, лучший из рыцарей, очень любил деву Марию. Чтобы заявить о своей знатности и утомить оружием свое благородное тело, он, одетый, как подобало, отправился на турнир. По воле божьей случилось так, что когда настал день турнира, он не в состоянии был скакать, а между тем он хотел быть на поле первым. Услыхав звон к священной мессе в ближайшей церкви, он немедленно отправился в церковь, чтобы послушать службу божью. Рыцарь благочестиво пропел мессу в честь девы Марии и выслушал другую службу, молясь от всего сердца. Когда месса окончилась, началась третья служба. В это время слуга сказал рыцарю: «Господин, во имя бога, проходит час турнира. Почему вы находитесь здесь? Идите туда, прошу вас. Или вы хотите сделаться отшельником?» «Друг,— ответил рыцарь,— успех на турнире будет иметь тот, кто прослушает богослужение. Когда окончатся все службы, мы отправимся в путь и, если на то будет милость божья, доблестно победим на турнире». Сказав так, он приблизился к алтарю и присутствовал при всех песнопеньях, которые были пропеты. Затем, оседлав коня, он поскакал во весь опор к тому месту, где должны были собраться его люди. Его встретили рыцари, которые вернулись с турнира ранеными. Они все приветствовали пришедшего и сообщили ему, что еще ни один рыцарь не сражался так храбро, как он сегодня. За это ему вовеки честь и хвала. Тут оказались его пленники, которые говорили: «Мы ваши пленники, наше оружие у вас». Рыцарь не удивился: он сразу понял, что та, ради которой он был в часовне, заменила его на поле сраженья. Он позвал всех своих баронов и сказал: «Слушайте меня: я расскажу вам такое чудо, подобного которому вы никогда не слы-

хали». И он им рассказал, как он слушал богослужение, а на турнире вовсе не был и никого не ранил мечом. Дева, в часовне которой он молился, сегодня вместо него принимала участие в турнире. «Прекрасен был тот турнир, в котором она вместо меня сражалась. Но плохо поступил бы я, если бы вернулся в суетный мир. Я обещаю богу никогда не сражаться на турнирах и выступать только перед вечным судьей, который один может меня судить». Он смиренно принял послушание, поступил в монастырь и стал служить деве Марии.

Этот рассказ сходствует с пушкинским романсом лишь в самом общем — в теме, исключительной по напряженности любви к деве Марии. Он осложнен популярным в Средние века мотивом — небесные силы (в частности, богородица) замещают человека и в его образе, выполняя его работу. (Ср. рассказ о неслышимом милосердии богородицы к некоей церковнице из «Speculum Magnit» легший в основу «Сестры Беатриссы» Метерлинка.)

В другой фавле — «*Du varlet qui se maria à Nostre-Dame dont ne volt qu'il habitast à autre* (ibid., т. II, стр. 420—426) — рассказывается о том, что перед одной старинной церковью стояла статуя девы. Каждый проходящий оставлял у ее подножья какое-нибудь приношение. Часто неподалеку играли дети в «клубок». Однажды большая толпа юношей играла в эту игру перед самым порталом церкви, там, где находилась статуя. Один из них, красивый юноша, носил на пальце кольцо, подаренное ему его подругой. Чтобы это кольцо не потерялось и не разбилось на части, он решил спрятать его в другом месте. Приблизившись к церкви, он увидел красивую статую, которая показалась ему такой прекрасной, что он в восхищении склонил перед ней колени и стал благочестиво совершать поклоны со взволнованным сердцем и умом. «Дама, — сказал он, — я буду служить вам всю мою жизнь, потому что никого никогда не видел прекраснее вас. Вы во сто тысяч раз лучше той, которая подарила мне кольцо. Я подарю вам в залог моей любви это прекрасное кольцо, удалюсь в монастырь и всю



жизнь не буду иметь ни подруги, ни жены, кроме вас, прекрасная дама». И он надел свой перстень на палец стапуи. Стапуя внезапно так крепко согнула палец, что снять кольцо не было никакой возможности. В ужасе юноша громко закричал, выбежал на площадь и стал всем встречным рассказывать о случившемся с ним. Каждый изумлялся и давал советы, которые он выслушивал в продолжение всего дня. Ему советовали покинуть свет, посвятить себя богу и деве Марии: она как бы сама указывала ему, что он должен ее одну любить и не иметь иной подруги. Но у него не хватило благоразумия все это исполнить. Скоро он стал забывать о случившемся. Проходили дни, юноша рос и мужал. Любовь к подруге так сильно связала его, что он совсем забыл богоматерь. Любовь к той, чей перстень он носил когда-то, сильно пленила его сердце. Вскоре он женился на своей подруге. Свадьба отпразднована была пышно: они были люди состоятельные. Присутствовало большое количество родственников и знакомых. Постель была уже готова, и молодые удалились в роскошную, заботливо приготовленную спальню. Но, придя туда, юноша почувствовал страшную усталость и, не коснувшись подруги, уснул крепким сном. Тогда явилась прекрасная дама (*douce Dame*), легла между ним и его женой и показала ему на своей руке кольцо, которое очень к ней шло, потому что палец был прямой и блестящий. «Ты поступил со мной вероломно,— сказала она,— Видишь кольцо твоей подруги, которое ты галантно дал мне, говоря, что я во сто тысяч раз красивее той девицы, которую ты любишь, и что ты будешь мне верен и не изменишь?» Страшно пораженный виденным, юноша (далее он почему-то называется клерком) проснулся и хотел руками схватить видение, но никого уже не было. Снова овладела им усталость, и он крепко уснул. Тогда опять явилась к нему богоматерь, но на этот раз полная гордости, негодования и презрения. Она посылала на его голову тысячу проклятий, угрожая ему адом, дьяволом, моровым, поветрием и всяческими бедствиями. Клерк в ужасе вско-

чил, весь дрожа, оставил жену, ушел в монастырь и всю остальную жизнь посвятил Христу и деве Марии. Он остался на всю жизнь в монастыре и был верен той, с которой обручился. И прошло уже два века, как он женат на Марии<sup>1</sup>.

Существенное отличие этого фавла от предыдущего в том, что чисто религиозный, лишенный признаков земной любви культ богородицы, характерный для рыцаря, усердно слушавшего мессу, во втором случае сменяется уже совсем земными чувствами к деве Марии, точнее — к ее статуе, поразившей юношу прежде всего своей красотой. И самые отношения юноши и богородицы разворачиваются в плане слишком реалистическом. Далеким по своему содержанию от такой материализации сюжета, пушкинский романс по своему духу не только в первой своей редакции, но и в завершительной, все же ближе ко второму фавлу, чем к первому. Для пушкинского бедного рыцаря характерно не то, что он благоговейно чтил деву Марию, а то, что он влюблен в нее, как в идеал прекрасной женщины. Это подчеркивалось Пушкиным в строках первой редакции:

Не путем де волочился  
Он за матушкой Христа...

и следующими строками письма к М. Л. Яковлеву от 19 июля 1831 г.: «У Дельвига находились готовые к печати две трагедии нашего Кюхли и его же Ижорский, также и моя «Баллада о рыцаре, влюбленном в деву» (Переписка Пушкина под ред. В. И. Саитова, т. 2-й, стр. 185).

Наконец в рассказе, озаглавленном «Uns miracles de Nostre-Dame, d'un chevalier qui amoit une dame» (Barba-

<sup>1</sup> Для истории сюжета сравни рассказ Мериме «Венера Ильская» (1837 г.), в котором идет речь о гибели Альфонса Пейророда, надевшего перед своей женитьбой кольцо на палец статуи Венеры. Статуя из ревности задушила на брачной постели юношу, нарушившего символически данное ей обещание быть ее мужем.

zan et Mèon, т. I, стр. 347—356), речь идет о рыцаре прекрасном, храбром, гордом, очень богатом и знатном. Он мечтал только о турнирах и поединках ради дамы, которая украла его сердце. Дама эта была высокого происхождения и замечательная красавица. Она холодно и с презрением относилась к рыцарю, и чем холоднее она была, тем больше разгоралась его страсть. Не будучи в состоянии победить свое чувство, он открыл его святому человеку, аббату, и тот посоветовал ему удалиться на год в монастырь, отказавшись от турниров. Он последовал его совету и каждый день молился деве. Однажды заблудившись на охоте, он увидел часовню. «А, божья мать, — сказал он, — благодарю тебя, пречистая дева, оставь в этой часовне того, кто хочет тебе служить». Без колебаний входит он в часовню и видит стапию богоматери. Он бросился на колени, совершил 150 поклонов. «О, пречистая дева, — сказал он, — я молюсь о моей подруге, которая так прекрасна, что наполняет меня большой любовью. Природа еще не создавала такой красоты. Все мое сердце принадлежит ей. Увы, если бы она полюбила меня!» Так молился он перед изображением святой девы, спрадая, плача и испуская глубокие вздохи. Богоматерь по своему великому милосердию к спрадальцам, призывающим ее, показалась ему во всем величии. Корона ее засверкала драгоценными камнями, и одежды заблестали. Она спала так прекрасна, что нельзя было ею не залюбоваться. «Та, которая заставляет тебя вздыхать и повергает в такое горе, — спросила богородица, — разве она, мой друг, прекраснее меня?» Рыцарь в испуге закрыл лицо руками; его объял невыразимый ужас, но та, которая милосердна ко всем, сказала ему: «Друг, не сомневайся, я та, которая может тебе дать твою подругу, и та из нас двоих, которую ты больше любишь, будет твоею». «Если такая замена возможна, — сказал рыцарь, — то я готов ее забыть». «Прекрасный друг, — сказала богородица, — там, в раю, ты найдешь во мне верную подругу, радость, поддержку и дружбу. В моей любви и во мне ты найдешь больше, чем мог бы

желать. Но надо вместо рыцарских подвигов и турниров делать 150 поклонов в день в продолжение года, не пропуская ни одного дня, и ты получишь мою любовь и будешь в моей власти без конца и срока». Рыцарь немедленно отправился к аббату и рассказал ему о происшедшем. После этого он постригся в монахи и все свое сердце и душу отдал деве. Он не пил и не ел, глубоко вздыхал, сердце его все восхищалось ее красотой. Божья мать без промедления, к концу года, взяла его к себе для блаженной жизни труда, где ее друг день и ночь наслаждается радостями любви.

Из всех трех рассказов, здесь изложенных, последний больше всего напрашивается на сближение с пушкинским романсом. В нем отсутствуют те реалистические подробности, которые присущи второму из пересказанных фавль. Там дева Мария изображена как ревнивая и мстительная женщина, грозно ополчающаяся на изменившего ей рыцаря. В миракле же она гораздо более соответствует обычному идеализованному воззрению на нее. В то же время она поражает рыцаря своей красотой и влюбляет в себя настолько, что для нее он забывает земную женщину, к которой он до тех пор испытывал запретную страсть. В наличии этого последнего эпизода — страстного увлечения рыцаря некоей женщиной, побеждаемого любовью к богородице, — существенное отличие романа Пушкина от пересказанного миракля. У Пушкина лишь глухо упоминается о том, что ранее у рыцаря были обычные увлечения, но что после «видения, непоспимого уму», он женщинами пренебрег:

С той поры, сгорев душою,  
Он на женщин не смотрел,  
Он до гроба ни с одною  
Молвить слова не хотел...

Вместо обычного для средневековых рассказов монастыря местом заключения пушкинского рыцаря является дальний замок. Рыцарь миракля, постригшись в монахи

и «все свое сердце и душу отдав девице», «не пил и не ел, глубоко вздыхал, сердце его все восхищалось ее красотой», и к концу года богородица взяла его к себе для блаженной жизни. Сходно говорит Пушкин и о своем рыцаре (1-я редакция, реконструкция Фрида):

Проводил он целы ночи  
Перед ликом пресвятой,  
Устремив к ней скорбны очи,  
Тихо слезы лья рекой.  
.....  
Возвращаясь в свой замок дальний,  
Жил он будто заключен,  
Все влюбленный, все печальный,  
Без причастия умер он.  
.....  
Но пречистая сердечно  
Заступилась за него  
И впустила в царство вечно  
Паладина своего.

В заключение приведем еще один рассказ на тему, близкую к теме романа о бедном рыцаре. Он находится в сборнике Цезария Гейстербахского «*Dialogus miraculorum*» и озаглавлен: «*De milite propter domini sui uxorem tentato, quem sancta Maria liberavit*» (Ср. *Cesarii Heisterbacensis Monachi ordinis cisterciensis Dialogus miraculorum. Accurate recognovit Jozephus Strange. Coloniae, Bonnae et Bruxelis, 1851* т. II, стр. 40.) Рассказ этот целиком, без изменений, вошел в средневековый латинский сборник «*Speculum Magnum*», откуда в польское «*Wielkie Żwierciadto*», переведенный в XVII веке в России под именем «Великого зеркала».

Воспроизвожу текст рассказа по списку «Великого зеркала» XVII века, принадлежащему б. Румянцовскому музею (по описанию Востокова, № 180):

(л. 292). «Прилогъ ѣ. Пресвятая богородица юношу война отъ искушенія сквернаго избави ради своего поздравленія и на вечерю небесную призва. Гл. с.о.д.

Воинъ нѣкій младый живяше при нѣкоей честной госпожѣ. Бысть же лѣпъ образомъ и возрастомъ, но множае

бѣствѣ благолѣпнѣю чистотою дѣвѣства. За (л. 292 об.) вѣствѣ же дѣявольская сотвори сіе, яко на жену господина своего зѣло веліе разженіе терпяше, въ немъ же цѣлое лѣто пребѣствѣ. И отвергши срамъ, повѣда своей госпожѣ, еже терпяше, но егда сія, яко честная, ему поноси сіе, еще же и въ большую болѣзнь вложи его. Тогда онъ иде къ нѣкоему пустыннику (къ нему же и часто ради совѣта обыче ходити) искушеніе свое со слезами повѣда. На сіе же старецъ несумѣнно, яко мужъ святой, отвѣща, глаголющи: «Ничтоже ты паче яко сіе одержишь, и азъ ти совѣтъ сицевыи даю, яко сіе еже желаеши, обрящеши: черезъ сіе же лѣто стократно цѣлованіе ангельское съ молитвами пресвятой богородицѣ глаголи и за сіе все воспримиши, еже желаеши». Вѣдѣше бо, яко рачительница чистоты юношу чистаго, аще и въ блудномъ разженіи будущаго, не оставитъ, понеже она толикаго естъ милосердія, яко много же отъ призывающихъ ея не оставитъ и вѣрно ей служащего во искушеніе впасти не попуститъ. Тогда онъ юноша въ великой простотѣ сердца госпожѣ нашей завѣщанное служеніе творяше и во единъ отъ дни сѣдѣше за трапезою господина своего и вспоминая, яко той день бѣствѣ конечный мимо грядущаго лѣта. И абіе восставши, всѣдши на конь и во ближнюю церковь шедши и обычныя своя молитвы творяше. По семь (л. 293), егда изъ церкви изыде, узрѣ выше ума человѣческаго прекрасную жену, всякую красоту человѣческую превосходяще, и сія коня за узду держаше. Егда сей ужасеся, сія рече ему: «Возлюбила ли ты ся красота моя?» Онъ же отвѣща: «Никогда же сицевыя жены видѣхъ». И паки рече ему: «довлѣетъ ти уневѣститися мнѣ?» Къ ней же отвѣща онъ: «И царь убо блаженъ бы былъ, который бы ты возмогъ уневѣстити». Она же рече къ нему: «Се азъ хочу уневѣститися тебѣ. Приступи ко мнѣ и подаде ему лобзати десницу и рече ему: «Ныне уневѣщеніе наше начатся, но оногo дне предъ сѣномъ моимъ совершеніе будетъ». По семь словеси позна, яко пресвятая богородица-дѣва бѣствѣ. И отъ того часа отъ великаго растлѣнія свободенъ бѣствѣ тако, яко и го-

спожа его дивляшеся. Сіе все егда пустыннику сказа, сей же милосердію пресвятыя богородицы чудяшеся и рече: «И азъ хощу быти въ день брака твоего и въ то время расположимъ вещи пвоя». И сотвори тако пустынник той, еже въ день поставленный прииде и рече юношѣ: «Слыши ли колико болѣзни?» Отвѣща: «Ныне слышу». И того времени душу господеву предаде, да обѣщаннаго брака и веселія вѣчнаго на небеси не лишится».

Как видим, рассказ из «Великого зеркала» в основном очень близок к пересказанному перед этим miraclo. Некоторые его подробности, отсутствующие в miracle, легко сближаются с отдельными частностями, характерными для пушкинского романа. Таковы некоторые места, характеризующие рыцаря: «Но множае бысть благолѣпность чистотою дѣвства»; сравни также указание на то, что юноша служил своей госпоже «въ великой простотѣ сердца». В параллель к строкам:

Он имел одно виденье  
Непостижное уму. —

в рассказе «Зеркала» читаем: «Узрѣ выше ума человека прекрасную жену». В том же рассказе встреча молодого воина с богородицей происходит не в церкви и не в часовне, а на дороге (богородица останавливает его коня за узду). То же и в романсе, в его первоначальной редакции (встреча во время путешествия в Женеву на дороге у креста).

Приводя все эти параллели к романсу о бедном рыцаре, я отнюдь не склонен настаивать на том, что в них необходимо искать источника пушкинского стихотворения. Хотя мы с достоверностью можем утверждать знакомство Пушкина со старой французской поэзией (ср. Сумцов, ук. соч., стр. 161), хотя не исключена возможность знакомства поэта со старинными памятниками русской литературы типа «Великого зеркала» (см. его выписки из «Четвух-Миней» и из «Пролога», относящиеся к 1835 г. Соч. под ред. П. О. Морозова, изд. «Просвещения», т. VI,

стр. 436—439), мы все же не имеем оснований в приведенных текстах или в каком-нибудь одном из них видеть непосредственный источник нашего стихотворения. Этими текстами не покрываются ни специфические особенности формы пушкинского романа, ни его стиль в частности, ни отдельные подробности сюжета. Из тех же текстов не вывести и замечательной по своей глубине и силе характеристики бедного, молчаливого и простого рыцаря, так сжато и вместе так исчерпывающе-содержательно данной в первой же строфе стихотворения. Все это нужно отнести или на долю самостоятельной творческой работы поэта, или на долю необнаруженных до сих пор прямых источников романа. Мои поиски в области европейской поэзии, связанной с культом Мадонны, в иных направлениях, помимо отмеченных выше, не дали пока никаких результатов. И на привлеченные к этой работе тексты, за отсутствием конкретных свидетельств о том, что они действительно были известны Пушкину, приходится смотреть лишь как на параллели, служащие материалом к уяснению истории сюжета пушкинского романа.



*Н. Н. Фатов*

ДЕФИНИТИВНЫЙ ТЕКСТ  
СТИХОТВОРЕНИЯ «19 ОКТЯБРЯ» (1825 г.)



Вопрос об окончательном, «каноническом» или «дефинитивном», тексте Пушкина не может быть разрешен единообразно и удовлетворительно для всех пушкинских произведений, но этот вопрос уместно ставить по отношению к отдельным произведениям при наличии соответствующего материала.

Публикуемый здесь неизвестный доселе автограф Пушкина дает возможность установить дефинитивный текст стихотворения «Роняет лес багряный свой убор...»

Эдиционная история этого стихотворения такова.

Написанное осенью 1825 г. в Михайловском, оно было переслано поэтом А. А. Дельвигу для напечатания в «Северных Цветах». Дельвиг представил рукопись через А. Х. Бенкендорфа в «высочайшую» цензуру. 4 марта 1827 г. Бенкендорф писал Пушкину:

Милостивый Государь,

Александр Сергеевич!

Барон Дельвиг, которого я вовсе не имею чести знать, препроводил ко мне пять сочинений Ваших: я не могу скрыть Вам крайнего моего удивления, что Вы избрали посредника в сношениях со мною, основанных на Высочайшем соизволении.

Я возвратил сочинения Ваши Г. Дельвигу и поспешаю Вас уведомить, что я представлял оные Государю Императору.

Произведения сии, из коих одно даже одобрено уже Цензурою, не заключают в себе ничего противного цензурным правилам. Позвольте мне одно только примечание: заглавные буквы друзей

---

Примечание. Настоящая статья была прочтена в 1925 г. в качестве доклада в заседаниях Пушкинской комиссии О. Л. Р. Сл. и секции русской литературы Исследовательского Института языка и литературы РАНИОН.

в пиесе 19-е Октября не могут ли подать повод к неблагоприятным для Вас собственно заключениям? это предоставляю Вашему рассуждению.

С совершенным почтением честь имею быть  
Вашим покорнейшим слугою

А. Бенкендорф <sup>1</sup>.

Письмо было послано в Псков, Пушкин же находился в Москве, и потому только 22 марта он мог представить свои объяснения.

«Милосливый государь, Александр Христофорович! — писал он. — Стихотворения, доставленные Бароном Дельвигом Вашему Превосходительству давно, не находились у меня: они мною были отданы ему для альманаха Северные Цветы и должны были быть напечатаны в начале нынешнего года. Вследствие Высочайшей воли, я остановил их напечатание и предписал Барону Дельвигу прежде всего представить оные Вашему Превосходительству.

«Чувствительно благодарю Вас за доброжелательное замечание касательно пиесы: 19 Октября. Непременно напишу Б. Дельвигу, чтоб заглавные буквы имен — и вообще все, что может подать повод к невыгодным для меня заключениям и толкованиям, было им исключено...»

Беловой рукописи стихотворения не сохранилось, и нельзя сказать точно, в каком виде оно послалось Дельвигу, и было ли что-нибудь «могущее подать повод к невыгодным заключениям и толкованиям» «исключено», кроме заглавных букв имен, замененных звездочками и тире.

Стихотворение было напечатано в «Северных Цветах» на 1827 год — последним номером в альманахе <sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Сочинения Пушкина. Издание Академии Наук. Переписка под ред. В. И. Саитова, т. II, СПб., 1908, стр. 10.

<sup>2</sup> «Северные Цветы» на 1827 год. Изданы Бароном Дельвигом. СПб., 1827, стр. 342 — 348. Заглавие: «19 Октября». К заглавию — сноски:

Этот первопечатный текст включает в себе 18 строк:

1. Роняет лес багряный свой убор...
2. Печален я: со мною друга нет...
3. Я пью один, и на берегах Невы  
Меня друзья сегодня именуют...
4. Он не пришел, кудрявый наш певец... (о Корсакове)
5. Сидишь ли ты в кругу своих друзей...
6. Ты сохранил в блуждающей судьбе... (обе, 5-я и 6-я, — о Матюшкине)
7. Друзья мои, прекрасен наш союз!..
8. Из края в край преследуем грозой!..
9. И ныне здесь, в забытой сей глуши... (о Пущине)
10. Ты,\*— счастливец с первых дней... (о Горчакове)
11. Когда постиг меня судьбины гнев... (о Дельвиге)
12. С младенчества дух песен в нас горел...
13. Служенье муз не терпит суеты...
14. Пора, пора! душевных наших мук  
Не стоит мир...— (о Кюхельбекере)
15. Пора и мне... пируйте, о друзья!..
16. И первую полней, друзья, полней!..
17. Пируйте же, пока еще мы тут!..
18. Несчастный друг! средь новых поколений  
Доучный гость и лишний и чужой!..

Во второй раз стихотворение было напечатано в 1829 г., в собрании стихотворений Пушкина<sup>1</sup> — в той же самой редакции. Имеется, правда, довольно большое количество разночтений<sup>2</sup>, но ни одно из них не изменяет смысла, касаясь исключительно правописания или пунктуации, напр:

в Сев. Цветах:

сего дня  
кудабъ  
Музъ  
оживи,

в изд. 1829 г.:

сегодня  
куда бь  
музь  
оживи;

и т. п.

«19 Октября 1811 года было открытие Императорского Царскосельского Лицея». Кроме этого стихотворения в альманахе из пушкинских вещей еще напечатаны: «Письмо Татьяны», «Ночной разговор Татьяны с няней» и «К\*\*\*» («Я помню чудное мгновенье»).

<sup>1</sup> Стихотворения Александра Пушкина. Санктпетербург, 1829. Вторая часть, стр. 34 — 43.

<sup>2</sup> При беглом сличении мною замечено 48 случаев.

Так как «Северные Цветы» печатались без участия Пушкина, издание же 1829 г. Пушкин, несомненно, подготовил к печати сам<sup>1</sup>, по текст издания 1829 г. надо признать более авторитетным, чем текст «Северных Цветов», и считать первопечатным авторским текстом.

Этот текст воспроизведен в посмертном издании<sup>2</sup> — лишь с незначительными изменениями, преимущественно в области пунктуации.

Текст посмертного собрания перепечатывают Анненков в своем издании 1855 г. (СПб., т. II, стр. 391—396) и П. О. Морозов (изд. «Просвещения», СПб., т. II, стр. 19—23). Этот же текст (но с пунктуацией изд. 1829 г., а не посмертного) дает венгерское издание (СПб., 1908, т. II, стр. 381—383), лишь полностью печатая фамилии, ранее заменявшиеся звездочками. Тот же текст дает академическое издание (т. IV, II г., 1916, стр. 147—152), также вставляя имена. Наконец, тот же текст мы имеем в последнем издании сочинений Пушкина под редакцией Б. Гомашевского и К. Халабаева (Ленинград, 1924, стр. 34—36), причем текст 1829 г. воспроизведен в этом издании с максимальной точностью, если не считать вставленных имен и двух замеченных мною разночтений:

*изд. 1829 г.:*  
Царское-село  
Пермесских дев

*изд. 1924 г.:*  
Царское Село  
пермесских дев

---

<sup>1</sup> Впрочем, печаталось оно также в его отсутствие, и корректур Пушкин, очевидно, править не мог. Вот относящиеся сюда даты (по Лернеру): 9-го марта 1829 г. Пушкин выезжает из Петербурга в Москву; 25 марта — разрешение выпустить из типографии 1-ю часть «Стихотворений Александра Пушкина»; 1-го мая — Пушкин выезжает из Москвы в Грузию; 25 июня — разрешение выпустить из типографии 2-ю часть «Стихотворений Александра Пушкина»; 20-го сентября Пушкин возвращается в Москву.

<sup>2</sup> «Сочинения Александра Пушкина». Том третий. СПб., МДСССXXXVIII (1838), стр. 16—22.

Все указанные издания составляют, так сказать, одну линию, восходящую к первопечатному авторскому тексту.

Но рядом с ней идет и другая линия — редакторов, которые кладут в основу не первопечатный текст, а текст черновой рукописи стихотворения, дающей ряд дополнительных строк, не вошедших в первопечатный текст.

Автограф стихотворения «19 октября», единственный, известный нам, принесенный 2 марта 1855 г. в дар Александровскому Лицею товарищем Пушкина М. Л. Яковлевым, был издан с точной (хотя далеко не идеальной) транскрипцией Я. К. Гротом в «Известиях Имп. Академии Наук по отделению русского языка и словесности», т. VI, лл. 17—21, СПб., 1858, столб. 329—336 (статья под заглавием «Автограф Пушкина» — *ib.*, стр. 326—336)<sup>1</sup>. В 1911 г. автограф был воспроизведен факсимиле, цинкографическим способом в известном издании кн. Олега Константиновича Романова<sup>2</sup>, — и таким образом теперь легко всем доступен<sup>3</sup>. Текст этот представляет собою, повидимому, не первоначальный, а уже перебеленный авторский черновик, с многочисленными поправками, и дает раннюю редакцию стихотворения, содержащую 25 строк, вместо 18, причем строфы перенумерованы Пушкиным в количестве 24 с пропуском строфы 2-й, совершенно им зачеркнутой.

По сравнению с первопечатным текстом имеется много различий, отмеченных в примечаниях к академическому изданию (хотя далеко не с идеальной точностью). Если мы обозначим вторую, зачеркнутую, строфу № I-a, то соотношение строк черновой рукописи и первопечатного текста будет такое:

<sup>1</sup> Затем перепечатано в книге «Пушкин; его лицейские товарищи и наставники». СПб., 1887, стр. 193—207, в собр. сочинений Я. К. Грота.

<sup>2</sup> «Рукописи Пушкина», I л. Автографы Пушкинского Музея Императорского Александровского Лицея. СПб., 1911. Выпуск I.

<sup>3</sup> Необходимо отметить, что полного тождества между публикацией Я. К. Грота и факсимиле нет; чем объяснить ряд различий и лишних слов у Грота — не знаю. *Н. Ф.*

- Строфа 1 черн. рук. («Роняет лес багряный свой убор...») — совпадает с 1 строфой первопечатного текста;
- » 1-а » » («Товарищи, сегодня праздник наш...») — отсутствует в первопечатном тексте;
  - » 2 » » («Спремлюся к вам, хожу меж вами я...») — отсутствует;
  - » 3 » » («Спартанскою душой пленяя нас...») — отсутствует;
  - » 4 » » («Они твердят томительный урок...») — отсутствует;
  - » 5 » » («Мечты, мечты! со мною друга нет...») — соответствует 2-й строфе первопечатного текста («Печален я со мною друга нет...»);
  - » 6 » » («Я пью один — и на берегах Невы...») — соответствует 3-й строфе первопечатного текста;
  - » 7 » » («Он не пришел, кудрявый наш певец...») — соответствует 4-й строфе первопечатного текста;
  - » 8 » » («Являлся ль ты в кругу своих друзей...») — соответствует 5-й («Сидишь ли ты в кругу своих друзей»);
  - » 9 » » («Ты сохранил в блуждающей судьбе...») — соответствует 6-й;
  - » 10 » » («Друзья мои! прекрасен наш союз...») — соответствует 7-й;
  - » 11 » » («Из края в край преследуем грозой...») — соответствует 8-й;
  - » 12 » » («И ныне здесь в забытой сей глуши...») — соответствует 9-й;
  - » 13 » » («Мы вспомнили, как Вахку в первый раз...») — отсутствует;
  - » 14 » » («Ты, Горчаков, счастливец с первых дней...») — соответствует 10-й;
  - » 15 » » («Когда меня постиг судьбины гнев...») — соответствует 11-й;
  - » 16 » » («С младенчества дух песен в нас горел...») — соответствует 12-й;
  - » 17 » » («Служенье муз не терпит суеты...») — соответствует 13-й;
  - » 18 » » («Пора, пора! душевных наших мук...») — соответствует 14-й;
  - » 19 » » («Пора и мне... Пируйте, о друзья!...») — соответствует 15-й строфе первопечатного текста.



Далее — дело идет несколько сложнее, а именно: первая половина 20-й строфы чернового текста —

И первую полней, друзья, полней!  
И всю до дна! — в честь нашего союза!  
Благослови, ликующая Муза!  
Благослови, да здравствует Лицей!..—

составляет начало 16-й строфы первопечатного текста; вторая половина 2-й строфы черновой рукописи («Злачные дни, уроки и забавы» и пр.) зачеркнута, и вторую половину 16-й строфы первопечатного текста составляет 2-я половина 22-й строфы по черновой рукописи («Наставникам, хранившим юность нашу...», и пр.).

21-я строфа по черновой рукописи (выписываю ее целиком, так как о ней-то и будет впереди речь) —

О други с мест, вторую наливайте  
Полней, полней — и сердцем возгоря  
Опять до дна, до капли выпивайте!..  
Но за кого-ж? о, други! угадайте...  
Ура, наш Царь! — так выпьем за Царя.  
Он человек: им властвует мгновение;  
Он Раб Молвы, сомнения и страстей —  
Но так и быть, простим ему гонение:  
Он взял Париж и создал нам Лицей —

отсутствует в первопечатном тексте.

Первая половина 22-й строфы — знаменитые строки —

Кунцыну дань сердца и вин  
Он создал нас, он воспитал наш пламень  
Поставлен им краеугольный камень,  
Им чистая лампада возжена...—

также отсутствует в первопечатном тексте; 2-я половина 22-й строфы («Наставникам, хранившим юность нашу...»), как было уже сказано, составляет 2-ю половину 16-й строфы первопечатного текста.

Строфа 23-я черн. рук. («Пируйте-же, пока еще мы тут...») — соответствует 17-й строфе первопечатного текста.  
» 24 » » («Несчастный друг! средь новых поколений...») — соответствует 1-8й строфе первопечатного текста.

Кроме того, в 13-й строфе 4 строки — тоже знаменитые (о Пущине) —

И все прошло: проказы, заблужденья...  
Ты осыятил побой избранный сан;  
Ему — в очах общественного мненья  
Завоевал почтение граждан —

зачеркнуты Пушкиным, и вместо них внизу страницы написаны другие 4 строки («Что ж я тебя не встретил тут же с ним...» и пр.) — о Малиновском, которые вместе с четырьмя оставшимися и составили 13-ю строфу по черновой рукописи. Зачеркнутые строки можно обозначить № 13-а.

Все стихотворение, таким образом, имеет в черновой рукописи 25 с половиной строф.

Наконец, в рукописи имеется еще эпитафия: *Nunc est bibendum* (Ног.) и в конце дата: «Михайловское, 1825».

Или, другими словами, первопечатный текст включает в себя: —

1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, первую половину 20-й, вторую половину 22-й, 23-й и 24-й строфы черновой рукописи

и опускает

1-а, 2, 3, 4, 13, 13-а, вторую половину 20-й, 21-й, первую половину 22-й — всего шесть целых строф и при половинки, т. е. 7½ строф.

Публикация Гропом полностью черновой рукописи, конечно, была совершенно естественна, но должна ли она была повлиять на основной текст стихотворения? Большинство редакторов, — названные мною выше, — решили этот вопрос отрицательно и перепечатывали текст 1829-го или 1838-го г., не вводя и никак не отмечая пропущенных строф. Но наличие в этих черновых строфах вполне поэтически совершенных и крайне интересных по содержанию стихов, вроде знаменитых строк, обращенных к Куницыну, естественно, не могло не привлечь к ним особого внимания. Первым ввел эти дополнительные строфы П. В. Аннен-

ков, напечатавший пропущенные места в VII, дополнительном томе, вышедшем в 1857 г. (стр. 61—63) под заглавием: «Сτροφы, опброшенные Пушкиным в стихотворении: «19 октября», причем из строфы 21-й (про царя) он мог напечатать лишь 1, 2, 4 и последнюю строки в таком виде:

О, други, с мест! Вторую наливайте!  
Полней, полней — и сердцем возгоря,  
Ура наш Царь!.. Так, выпьем за Царя!  
.....  
Он взял Париж и создал наш Лицей<sup>4</sup>.

Не могли быть напечатаны также и 3 строки о Пущине («Ты освяпил» и пр.). Свою публикацию Анненков сопроводил таким примечанием:

Пушкин выпустил эти строфы, не имеющие поэтического достоинства и написанные только для оживления еще недавнего бывшего в воспоминании друзей; но для нас они весьма важны, заключаая в себе несколько любопытных подробностей о лицейской жизни вообще. В первых четырех строфах поэт относится мысленно к будущим участникам лицейского праздника, которые тогда, в 1825, еще сидели на скамьях лицея, запертые в стенах его<sup>2</sup>. Биографическое значение отрывков будет легко признано всеми читателями (стр. 63—64).

Сличая опубликованный Анненковым текст пропущенных строк с рукописью Александровского лицея, мы замечаем ряд существенных разночтений<sup>3</sup>; это дает основание пред-

---

<sup>1</sup> В таком же виде мог напечатать эту строфу и Я. Грот в «Известиях Академии!» только в 1887 г. в книге «Пушкин, его лицейские товарищи и наставники» мог напечатать всю строфу без пропусков.

<sup>2</sup> Это толкование совершенно произвольно и не соответствует смыслу стихов Пушкина; поэт ясно говорит о своих товарищах по лицу, а вовсе не о лицеистах следующих выпусков.

<sup>3</sup> Они указаны П. О. Морозовым в примечании к собранию соч. Пушкина изд. «Просвещения», том II, стр. 369—376. Морозов дает текст по Анненкову, варианты же приводит по Гроту; впрочем, делает это он не вполне последовательно, упоминая иногда и варианты первоначального гротовского текста (т. е. восстанавливая зачеркнутое Пушкиным), и не оговаривает этого.

полагать, что в руках у Анненкова была другая рукопись, до нас не дошедшая, и что его публикация сделана независимо от публикации Гропа, причем она и появилась в свет, повидимому, раньше гроповской.

Точно так же, как и Анненков, поступает П. О. Морозов, публикуя в основном тексте первопечатную редакцию и сообщая варианты и дополнительные строфы в примечаниях<sup>1</sup>.

Совершенно иначе поступает П. А. Ефремов, который в своем издании<sup>2</sup> печатает все стихотворение целиком, вводя и пропущенные строфы, лишь выделяя их графически (набраны петитом и немного отступя вправо)<sup>3</sup>.

Наконец совсем уже не обращает внимания на первопечатный текст В. Я. Брюсов, который в своем издании<sup>4</sup> дает сплошь весь текст черновой рукописи<sup>5</sup> — все 25 с половиною строф, нумеруя их так же, как это было сделано и мною выше, т. е. вводя обозначения: 1-а и 13-а.

---

<sup>1</sup> Указанное издание «Просвещения», том II, стр. 19—23 и прим., стр. 369—378, причем в основу положен текст изд. 1838 г., и Академическое издание, том IV, стр. 147—152 и прим. 187—201, где в основу положен текст изд. 1829 г. Нельзя не заметить, что, печатая на стр. 189—190, 191 и сл. черновые варианты, П. О. Морозов дает какую-то совершенно фантастическую транскрипцию, не передающую текста опубликованной Гропом рукописи, а представляющую произвольное соединение двух вариантов — гроповского и анненковского, причем последнему отдается предпочтение; варианты же по гроповскому тексту изображаются как бы зачеркнутыми, хотя бы в рукописи они и не были зачеркнуты. Прием — более чем странный.

<sup>2</sup> Сочинения А. С. Пушкина. Редакция П. А. Ефремова, том II, издание А. С. Суворина, СПб., 1903, стр. 38—46.

<sup>3</sup> Текст дается по Анненкову; пропущенное у Анненкова — по Гропу.

<sup>4</sup> А. С. Пушкин, Полное собрание сочинений. Со сводом вариантов. Под редакцией со вступительными статьями и объяснительными примечаниями Валерия Брюсова. Том первый. Часть первая. Государственное издательство, Москва, 1920, стр. 234—238.

<sup>5</sup> Впрочем, текст дается все же не по рукописи, а по Ефремову, т. е. смешанный анненковский с гроповским, лишь с некоторыми поправками.

Таким образом, получается вторая линия: Гроп (конечно, с особыми заданиями)—Ефремов—Брюсов.

Или, уточняя, можно установить четыре способа воспроизведения стихотворения «Роняет лес»...

1) Дается лишь 18 стрóf первопечатного издания— посмертное и венгеровское издания<sup>1</sup>.

2) Дается текст первопечатного издания; дополнительные стрóфы и варианты приводятся в комментариях и дополнения— анненковское издание, издание «Просвещения», академическое.

3) Стихотворение печатается целиком (25 стрóф), но опущенные стрóфы выделяются графически— ефремовское и

4) Воспроизводится весь текст без какого бы то ни было выделения пропущенных стрóф— Гроп и В. Брюсов.

В примечаниях (П. Морозова) к венгеровскому и академическому изданиям сказано: «Стихотворение было представлено в цензуру Бенкендорфа через барона Дельвига, причем из рукописи были заранее исключены семь стрóф, а собственные имена товарищей обозначены только главными буквами»<sup>2</sup>.

Возникает вопрос, почему Пушкин исключил эти стрóки, — считал ли он их органически лишними или несовершенными, «не имеющими поэтического достоинства», как выразился, безо всякой, однако, мотивации, Анненков, или в силу каких-то спорных, напр. цензурных, соображений, как, по видимому, полагает В. Я. Брюсов, категорически заявляющий: «При жизни Пушкина «Сев. Цв.», 1827 и изд. 1829 г. (это стихотворение) могло появиться в пе-

<sup>1</sup> Пропущенные стрóфы С. А. Венгеров, очевидно, рассчитывал поместить в дополнительном томе, который должен был включить «историю пушкинского текста», обещанную с I тома и так и не осуществленную.

<sup>2</sup> Венгеровское изд., том III, СПб., 1909, стр. 574 и академическое издание, том IV, П., 1916, стр. 188.

части<sup>1</sup> лишь с пропусками строф: 1-а, 2—4, 13, 13-а, второй половины 20-й, 21, первой половины 22» (Брюсовское изд., стр. 238).

Если бы было верно последнее, то мы, естественно, имели бы право восстановить пропущенное, как, например, восстанавливаем опущенные Пушкиным собственные имена. И в таком случае из всех редакторов на верном пути оказался бы В. Брюсов, напечатавший стихотворение по рукописи целиком. Но едва ли у нас есть к тому какие-либо основания.

Во-первых, большинство строф (за исключением 21-й — о царе, строк о Пущине и, может быть, строк о Куницыне) в цензурном отношении несколько не «опаснее» напечатанных. Во-вторых, некоторые из них сам Пушкин в черновой (лицейской) рукописи — зачеркнул: строфа 1-а не вошла даже в авторскую нумерацию, затем зачеркнуты конец 13-й строфы, конец 20-й и конец 21-й. В-третьих, некоторые из опущенных строф имеют в рукописи (и в воспроизведении В. Брюсова) явно не окончательный вид, что особенно заметно на строфе 21-й, которая в отличие от всех остальных, состоящих из восьми строк, имеет девять строк, и явно нарушает проводимую во всем стихотворении систему рифм: *abba cdcd*<sup>2</sup>.

Наконец, мы имеем еще и авторитетное свидетельство Я. К. Гропа. В упомянутой выше статье «Автограф Пушкина» (стр. 326—327) он пишет:

В том виде, как 19-е октября (sic!) напечатано еще при жизни Пушкина, это стихотворение: содержит в себе 18 строф. В таком же виде оно дошло еще неизданное до Царскосельского Лицея в 1826 году. Тогда я только что начинал свое воспитание в Лицее; однажды профессор русской словесности Н. Ф. Кошанский, бывший наставник Пушкина, принес с собою на кафедру эти

<sup>1</sup> Подчеркнуто мною. Н. Ф.

<sup>2</sup> На это обстоятельство обратил внимание В. Я. Брюсов, отметив и существующие в рукописи указания на лишний стих (о чем ниже), но не сделал из этого соответствующих выводов (Брюсовское издание, стр. 239).

стихи, как новость, только что полученную им от автора, и прочел их своим слушателям. Можно представить себе, с каким восторгом мы приняли их; скоро они появились между нами во множестве списков и были всеми выучены наизусть.

Таким образом, Гроп свидетельствует, что и до печати стихотворение распространялось Пушкиным или его друзьями в том же виде, в каком оно было напечатано впервые, т. е. в составе 18 строф. Это, казалось бы, давало право считать текст издания 1829 г. дефинитивным. Однако найденный мною автограф проливает несколько иной свет на этот вопрос и позволяет внести к тексту 1829 г. один существенный корректив.

Находка, о которой идет речь, сделана мною в 1924 г. в Тверском музее. Там имеется экземпляр стихотворений Пушкина, изд. 1829 года, подаренный поэтом Екат. Ник. Ушаковой. Сведения об этой книге имеются в печати. В академическом издании «Пушкин и его современники», вып. II, СПб., 1904 г., в напечатанном там «Извлечении из протоколов заседаний комиссии», для издания сочинений Пушкина при Отд. русск. яз. и словесн. Имп. Академии Наук протокол заседания от 27 марта 1903 г., п. VII, гласит следующее:

Делопроизводитель доложил о полученном при отношении Тверской ученой Архивной комиссии от 25-го октября 1902 г., за № 260, экземпляре «Стихотворений Александра Пушкина», ч. 1, СПб., 1829 г., найденном в библиотеке бывших помещиков Калязинского уезда Ушаковых; на обложке книги рукою Пушкина сверху написано чернилами: «всякое даяние благо»—внизу: «Всяк дар свыше есть», на внутренней стороне обложки: «Катерине Николаевне Ушаковой от А. П. 21 сентября 1829 Москва», а на задней обложке с наружной стороны: «Nes femina, nes ruet...»

Положено: возвратить книгу в комиссию и выразить ей благодарность от имени Пушкинской Комиссии <sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Кроме того сведения об этом экземпляре помещены в журнале 86 заседания Тверской Уч. Арх. комиссии.

Уже после того как настоящая статья была написана, мне попался в руки тверской журналчик «Материалы Общества изучения Тверского края», выпуск III, апрель 1925 г., где на стр. 17—21 помещена заметка

Хотя, как видим, книга была в руках столь авторитетных учреждений, как Тверская ученая архивная комиссия, а затем комиссия по изданию сочинений Пушкина при самой Академии наук (на заседании 27 марта 1903 г. присутствовали: председатель, ординарный академик А. Н. Веселовский, члены: академики А. Н. Пыпин, А. А. Шахматов и Ф. Е. Корш; В. И. Саипов и В. Е. Якушкин; делопроизводитель Б. Л. Модзалевский), но, как это нередко фатально случается у нас, ни тверские археологи, ни почтенные академики не сумели ни описать как следует бывшей у них в руках книги, ни правильно прочесть пушкинских надписей и совсем проглядели то, что в этой книге есть самого интересного.

Во-первых, в книге имеется не одна только первая часть, но и вторая; обе части переплетены вместе. Во-вторых, в этом экземпляре интересно то, что сохранена обложка, которую обычно отрывают при переплете<sup>1</sup>. Сохранилась обложка лишь от 2-й части и была вклеена в начало книги; обложка от 1-й части, очевидно, была уничтожена, но из нее были вырезаны: кусочек со словом «Первая» и полоска с пушкинской надписью — и наклеены на обложку 2-й части, что ясно заметно и на воспроизводимом снимке (см. рис. № 1).

Пушкинские надписи таковы:

1) *„Всякъ даръ совершенъ свыше есть“* (было написано на обложке 1-й части, вырезано и наклеено на обложку 2-й части внизу) и

2) *„всякое даяніе благо—“* (написано наверху обложки 2-й части)<sup>2</sup>.

И. Виноградова «Автографы Пушкина в Тверском музее». Заметка дает описание экземпляра «Стихотворений А. Пушкина», сообщает довольно подробные сведения о знакомстве Пушкина с Ушаковыми. На стр. 18—21 воспроизведены снимки обложки и автографов поэта.

<sup>1</sup> По крайней мере во всех экземплярах этого издания, которые мне удалось достать в Москве, обложки не сохранились.

<sup>2</sup> В приведенном выше «Извлечении из протоколов» почему-то исчезло слово «совершен».



На обороте имеется надпись:

*Катеринь Николаевнъ  
Ушаковой  
от А. П.  
21 сентября  
1829  
Москва*

Эта надпись воспроизведена в «Извлечении» верно, лишь напечатана в спрочку, что не передает ее внешнего вида (см. рис. № 2).

На задней стороне книги надпись:

«Nec femina, nec ruet»...<sup>1</sup>

Но главный интерес книги заключается не в этих надписях, а в том, что во второй части, на чистом конце спр. 43, под последней строкой стихотворения «19 октября», занимающего в этом издании спр. 34—43, имеется, очевидно, никому не известный автограф Пушкина. Он написан карандашом, но уверенным почерком, без единой помарки, и представляет собою чистовой, окончательный текст 21-й строфы стихотворения (про царя). На предыдущей, 42-й, странице после 16-й строфы по печатному тексту, в конце ее последней строки

«Не помня зла, за благо воздадим» —

Пушкиным карандашом поставлен крестик и сноска. В конце, под последней строкой стихотворения такой

---

<sup>1</sup> Об Ушаковых Елизавете и Екатерине Николаевне и отношениях к ним Пушкина, полагаю, было бы излишним здесь говорить. Напомню только, что 20 сентября 1829 г. Пушкин приехал с Кавказа в Москву, повидимому, тут же получил авторские экземпляры вышедшего без него собрания стихотворений, и на другой же день по приезде, 21 сентября, подарил экземпляр Екат. Ник. Ушаковой; октября 5 — он нарисовал известный карикатурный рисунок на Елиз. Мих. Ушакову («кисаньку»), октября 12 Пушкин выехал из Москвы в Малинники. Надпись «Nec femina, nec ruet» заставляет вспомнить эпиграф к «Домику в Коломне» — «Modo vir, modo femina».

же крестик и сноска и затем написана вся строфа про царя в таком виде:

*Полный, полный! и сердцемъ возгоря,  
Опять до дна, до капли выпивайте!  
Но за кого? о други, угадайте...  
Ура, нашъ Царь! такъ! выпьемъ за Царя.  
Онъ человекъ! имъ властвуетъ мгновенье.  
Онъ рабъ молвы, сомнѣній и страстей;  
Простимъ ему неправое гоненье:  
Онъ взялъ Парижъ, онъ основалъ Лицей.*

Тот факт, что Пушкин сам вписал эту строфу в печатном экземпляре, говорит нам с полной несомненностью, что ей он придавал важное значение, мыслил ее органически необходимой в составе стихотворения и считал нужным ее восстановить.

Если другие строфы могли быть исключены Пушкиным как излишние или не вполне отделанные, то несомненно, что как раз эта строфа, хотя и «верноподданническая» в основе, но содержащая несколько смелые для «подданного» суждения о царе — не могла быть напечатана по цензурным соображениям. Напомню что в издании Анненкова, и даже в первой научной публикации Грота, в 1857—1858 гг., ее оказалось невозможным напечатать целиком<sup>1</sup>.

Нетрудно убедиться, что эта строфа действительно органически входит в замысел стихотворения. Создавая его, Пушкин находился в благосном, примирительном настроении. Вспомнив всех своих поварихей, даже Горчакова, которого едва ли особо любил, Пушкин надеется следующую годовщину пировать вместе с товарищами.

Предчувствую отрадное свиданье;  
Запомните ж поэта предсказанье;  
Промчится год — и с вами снова я!

<sup>1</sup> Понятно, что и Кошанский (см. выше цитированные воспоминания Я. Грота) не мог читать этой строфы лицеистам, если даже и знал ее.

Представляя себе эту будущую пирушку в кругу друзей, поэт восклицает:

О, сколько слез и сколько восклицаний,  
И сколько чаш, подъятых к небесам —

и дальше говорит о порядке постов. Первый пост — за Лицей, за поварищей, за их союз, за учителей —

И первую полней, друзья, полней!  
И всю до дна в честь нашего союза!  
Благослови, ликующая муза,  
Благослови! да здравствует Лицей!  
Наставникам, хранившим юность нашу,  
Всем честно, и мертвым, и живым,  
К устам подъяв признательную чашу,  
Не помня зла, за благо воздадим.

Затем следует второй пост:

О други с мест! вторую наливайте!  
Полней, полней! и, сердцем возгоря,  
Опять до дна, до капли выпивайте.  
Но за кого ж? о други! угадайте...  
Ура, наш Царь! так! выпьем за Царя...<sup>1</sup>

В предшествующей строфе сказано о первой чаше; естественно за ней должна последовать вторая. Если выпустить строфу о царе, то слово «первую» представляется как бы не вполне оправданным. Очень гармонируют обе строфы друг с другом и по общему тону. Придя в благостное настроение, Пушкин предлагает «простить» педагогам:

Всем честно, и мертвым и живым...  
Не помня зла, за благо воздадим...

Мы знаем, что далеко не о всех лицейских учителях были у лицеистов и у Пушкина хорошие воспоминания, но для радостного случая — можно злом не помянуть. «Воздадим» педагогам, «не помня зла, за благо», поэт вспоминает и Александра как основателя Лицея — ход мысли

---

<sup>1</sup> Беру текст из лицейского автографа.

несколько неожиданный; поэт заинтриговывает поварихой, не говорит сразу, предлагает «угадать», и, не надеясь на их слишком большую догадливость, сам отвечает.

Ура, наш царь! так! выпьем за царя...<sup>1</sup>

Простив «за зло» учителям, Пушкин предлагает для радостного случая простить и Александру:

Он человек, им властвует мгновение,  
Он раб молвы, сомнений и страстей,  
Простим ему неправое гонение...

За что же? Как и педагогам: «не помня зла, за благо»:

Он взял Париж, он основал Лицей.

Эти мысли вполне гармонировали с настроением Пушкина. Правда, мы знаем, что он далеко не симпатизировал Александру I. Вспомним хотя бы известные слова из письма к Жуковскому от первой половины января 1826 г.:

«Говорят, ты написал стихи на смерть Алек(сандра) — предмет богатый! — Но в печенки десяти лет его царствования, лира твоя молчала. Это лучший упрек ему. — Никто более тебя не имел право сказать: глас лиры глас народа. Следств(енно) я не совсем был виноват, подсвистывая ему до самого гроба»<sup>2</sup>.

Но это несколько, конечно, не исключает возможности благодушно-прощающего настроения по отношению к Александру. Уже самый факт, что, вспоминая лицейскую годовщину, Пушкин счел нужным поднять тост за царя, говорит об этом с достаточной убедительностью. Повидимому, отношение Пушкина к Александру I было двойственное. Вообще он его не любил, и этого он не скрывал и в стихотворении «19 октября»: сказал и о «неправом гонении», и о том, что царь — «раб молвы, сомнений и страстей», но поэт мог испытывать к нему вполне искренне благодарность за две вещи — за основание Лицея и взятие Парижа.

---

<sup>1</sup> По Тверскому автографу.

<sup>2</sup> «Переписка», т. I, стр. 319.

Сколь дорог был для поэта Лицей и все, что было с ним связано, не требует напоминаний и пояснений. Естественно и к основателью лицея Пушкин, несмотря ни на что, готов был питать благодарные чувства. «Взятие Парижа» также, очевидно, запрагивало в душе поэта какие-то близкие струны. Патриотические чувства Пушкина, его любовь к славе России, конечно, никакому сомнению не подлежат и вполне гармонируют с теми элементами дворянско-аристократической психологии, которые у Пушкина были очень сильны. Вспомним «Клеветникам России», пролог к «Медному всаднику», стихотворение, посвященное 12-му году и его героям («Бородинская годовщина», «К тени полководца» и пр.). Вспомним, что даже в самом антипатриотическом письме от 27 мая 1826 г. к кн. П. А. Вяземскому, где Пушкин говорит: «Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног», он тут же прибавляет: «но мне досадно, если иностранец разделяет со мною это чувство»<sup>1</sup>. Вспомним, наконец юношеское стихотворение Пушкина, написанное на возвращение Александра из Европы после взятия Парижа. Там Пушкин писал:

Свершилось!.. Руской ЦАРЬ, достиг ТЫ славной цели!  
Вотще надменные на родину летели;  
Вотще впреди знамен бесчисленных дружин  
В могущей дерзости венчанный исполни  
На гибель грозно шел, влек цепи за собою:  
Меч огненный блеснул за дымною Москвою!  
Звезда губителя попухла в вечной мгле,  
И пламенный венец померкнул на челе!..  
О, сколь величествен, бессмертный, ТЫ явился,  
Когда на сильного с сынами устремился...

(«На возвращение государя императора из Парижа в 1815 году».)

Несмотря на весь державинско-громозвучный, как бы официально-казенный, пафос этой оды, все же нет никаких оснований утверждать, что молодой Пушкин, еще

---

<sup>1</sup> Переписка, т. I, стр. 352.

почти не изведавший либеральных настроений, находящийся в придворно-аристократическом закрытом учебном заведении, под несомненным воздействием всей придворно-аристократической атмосферы, писал эти строки неискренно. Патриотический восторг, охвативший тогда все наше дворянское общество, гипноз побед и военного блеска —

Лоскутья сих знамен победных,  
Сиянье шапок этих медных,  
Насквозь простреленных в бою —

все это захватило мальчика Пушкина <sup>1</sup>

В Париже Росс! где факел мщенья?  
Поникни, Галлия, главой!  
Но что я зрю? Герой с улыбкой примиренья  
Грядет с оливою златой!..  
Достойный внук Екатерины!.. и т. д.

И вот отзвук этих настроений сказался через 10 лет в благостно-примирительный момент, когда поэт в Михайловской пиши вспомнил об основании Лицея, да еще под воздействием «осенней спужи друга» — вина... <sup>2</sup>. И вовсе, разумеется, нет оснований думать, что Пушкину надо было отречься от своего «подсвистывания» «венчанному солдату», чтобы высказать эти примирительные чувства.

Надо обратить еще внимание на характерный мотив — «Он человек! им властвует мгновение...» Мотив тоже весьма типичен для Пушкина, который не раз склонен был «по-человечески» относиться к несимпатичным ему общественным деятелям. Осуждая их деятельность, он

<sup>1</sup> Ср. еще «Воспоминания в Царском Селе».

<sup>2</sup> Для 1829 года, когда Пушкин написал строфу про царя в стихотворении, это примирительное настроение к Александру I, уже умершему, также представляется естественным. «Помилуванный» Николаем и не испивший еще до дна всей горькой чаши царско-бенкендорфовских милостей, Пушкин в это время хотел искренно быть лояльным, жить в мире с правительством. Вспомним его «Стансы», «Друзьям», «Героя», «Записку о народном воспитании», некоторые высказывания в письмах.

готов был прощать им, как людям, особенно за спр-адания, ими испытанные. Припомним хотя бы отношение поэта к Наполеону. Этому «тирану», которому «во след» полетело «проклятие племен», Пушкин также благостно после его смерти протягивает пальмовую ветвь примирения и прощения и относится к нему уже не как к поли-пическому деятелю, который «человечество презрел» и «обновленного народа», «буйность юную смирил», а как к человеку, испытавшему горькую судьбу: «искуплен-ны его стяжанья» — «тоскою душного изгнанья» — ведь «один, один о милом сыне в уныньи горьком думал он...» И Пушкин приглашает начертить «слово примиренья» на «оном камне». Подобное же настроение может быть установлено и по отношению к некоторым пушкинским героям. Например, рисуя крайне несимпатичный образ скупого рыцаря, поэт все же в конце концов делает его жалким, как человека, который понял в конце жизни, что жил бесцельно и что все его мечты разлетаются в прах.

В настоящей статье было бы неуместно останавливаться подробно на этой черте пушкинской психики и устанавливать социально-классовые корни подобного «примиренческого» настроения. Замечу лишь, что оно, несомненно, связано с принадлежностью поэта к привилегированному и господствующему классу. При всех невзгодах, переживаемых Пушкиным, у него не могло быть той озлобленности, той непримиримости, которая естественна у «плебея». Для дворянина той эпохи как-то особо легко было «простить» человека, особенно своего все же круга, подойти к его оценке «по-человечески». Быть может, туп имеются уже зачатки той «интеллигентской мягкопелости», которая несвойственна представителям класса, вынужденного бороться с привилегированными слоями и завоевывать свое право на жизнь или власть. Эти мысли, конечно, требуют более подробного обоснования, почему я их и не развиваю здесь подробно, так как сейчас ставлю себе определенную узкую цель — установления дефинитивного текста стихотворения «Роняет лес...»

Остановлюсь еще на разночтениях, которые дает тверской автограф по сравнению с лицейской (грозовской) рукописью и анненковским вариантом. Уже говорилось, что 21-я строфа в черновой рукописи и в воспроизведении Грота и Брюсова имеет не 8, а 9 строк. Первые строки в черновой рукописи (по В. Брюсову) читаются так:

О, други, с мест! вторую наливайте!  
Полней, полней! — и, сердцем возгоря,  
Опять до дна, до капли выпивайте!..  
Но за кого-ж?.. О, други, угадajte...  
Ура, наш Царь! — так, выпьем за Царя...

получается лишняя строчка, с лишней рифмой. Однако рассмотрение рукописи показывает, что первоначально в этой первой половине строфы было не пять, а, как и полагается, четыре строки, и что начиналась она со второй строки: «Полней, полней» и пр., 1-я же строчка была написана после. Точная транскрипция этих пяти строк такова:

- вторую*<sup>2</sup>
- 1 О други съ мѣсть, [бокалы]<sup>1</sup> наливайте
  2. Полнѣй, полнѣй — и сердцем возгоря
  3. Опять до дна, до капли выпивайте!..  
Но за кого ж?.. о, други! угадajte...  
*нашъ*<sup>2</sup>
  4. Ура Царь! — такъ выпьемъ за Царя.

Изменив начало строфы и вписав новую первую строку, Пушкин для ясности перенумеровал последовательность строк, очевидно, решив выбросить строку, бывшую первоначально третьей («Но за кого ж?» и пр.), только забл был ее зачеркнуть или счел это преждевременным, считая всю строфу еще не окончательно отделанною, а быть может, в какой-то степени и дорожа этим характерным

---

<sup>1</sup> Зачеркнуто.—Н. Ф.

<sup>2</sup> Набранное курсивом написано позже.—Н. Ф.



переходом с вопросом: «Но за кого ж?..» Отсутствует эта строка и у Анненкова, хотя, понятно, в ней не могло быть ничего «нецензурного» — повидимому в рукописи, находившейся в руках Анненкова, эта строка уже отсутствовала. В тверском автографе пропущенная, но не зачеркнутая Пушкиным строка восстановлена, но зато выкинута надписанная в черновой рукописи первая, и строфа получает должную стройность с сохранением указанного характерного перехода с вопросом: «Но за кого ж?»

Полней, полней! и, сердцем возгоря,  
Опять до дна, до капли выпивайте!  
Но за кого? о, други, угадайте...  
Ура, наш Царь! так! выпьем за Царя...

Далее имеется ряд характерных отличий в пунктуации и правописании, что видно из следующего сравнения:

*Лицейский автограф:*

Полнѣй, полнѣй — и сердцемъ воз-  
горя  
Опять до дна, до капли выпивай-  
те!..  
Но за кого жь?... о други! угадай-  
те...

*нашъ*

Ура Царь! — такъ выпьемъ за  
Царя  
Онъ человекъ: имъ властвуетъ  
мгновенѣе  
Онъ Рабъ Молвы, сомнѣнья и  
страстей —  
Но такъ и бытъ  
Простимъ ему [неправое]<sup>1</sup> го-  
ненѣе.  
Онъ взялъ Парижъ и создалъ нашъ  
Лицей.

*Тверской автограф:*

Полнѣй, полнѣй! и сердцемъ воз-  
горя:  
Опять до дна, до капли выпивай-  
те!  
Но за кого? о други, угадайте...

Ура, нашъ Царь! такъ! выпьемъ за  
Царя,  
Онъ человекъ! имъ властвуетъ  
мгновенѣе,  
Онъ рабъ молвы, сомнѣній и спра-  
стей,  
Простимъ ему неправое гоненѣе:  
Онъ взялъ Парижъ, онъ основалъ  
Лицей

Подчеркнем наиболее характерные различия.

<sup>1</sup> Зачеркнуто. — Н. Ф.

В вопросе: «Но за кого ж?» Пушкин исключил неблагозвучное «ж».

В 1825 г. Пушкин еще по старой своей манере написал с больших букв «Раб Молвы» — теперь, в 1829 г., он заменил прописные буквы строчными.

Вместо «сомнѣнья и страстей» поправил: «сомнений и спраспей».

В предпоследней строчке Пушкин восстановил первоначальное чтение:

Простим ему неправое гонѣне.

И, наконец, для заключительной строки дал новый вариант вместо: «и создал наш Лицей» — «он основал Лицей». Последний вариант с двумя «он» в строчке, звучит, конечно, гораздо ярче.

Итак, для этой строфы, мы можем установить следующую историю текста:

1) не считая, конечно, неизвестных нам, но возможных, черновики) — первоначальный текст лицейской рукописи:

Полнѣй, полнѣй — и сердцемъ возгоря  
Опять до дна, до капли выпивайте!..  
Но за кого-жь?.. о други! угадайте...  
Ура нашъ Царь! — такъ выпьемъ за Царя  
Онъ человекъ: имъ властвуетъ мгновенѣе  
Онъ Рабъ Молвы, сомнѣнья и спраспей—  
Простимъ ему неправое гонѣне:  
Онъ взялъ Парижъ и создалъ нашъ Лицей.

2) Тот текст, который получается, если принять во внимание авторские поправки в лицейской рукописи, поставленную Пушкиным нумерацию строк, неполную публикацию Анненкова и невозможность девятистрочной строфы:

вторую  
О други съ мѣстѣ,\* (бокалы) наливайте  
Полнѣй, полнѣй — и сердцемъ возгоря  
Опять до дна, до капли выпивайте!..  
Ура нашъ Царь! — такъ выпьемъ за Царя.

Онъ человекъ: имъ властвуетъ мгновенно  
Онъ Рабъ Молвы, сомнѣнья и страстей—  
Но такъ и быть. Простимъ ему гоненье:  
Онъ взялъ Парижъ и создалъ нашъ Лицей.

3) Окончательный текст — тверской автограф.

Итак, как же печатать стихотворение «19 Октября», какой текст считать дефинитивным?

В основу, разумеется, должен быть положен первопечатный текст издания 1829 года, который и надо воспроизводить, сделав разве лишь одно орфографическое исправление (Царское Село—как сделал это и Томашевский)<sup>1</sup>.

Фамилии Пушина и Горчакова, как опущенные поэтом из цензурных соображений, должны быть восстановлены<sup>2</sup>.

Но, как следует из всего вышесказанного, в этот первопечатный текст мы не только имеем право, а и обязаны внести строфу 21-ю (по пушкинской нумерации в лицейской рукописи)—о царе, поместить ее непосредственно за 16-ю строфу первопечатного текста, так как эта строфа органически связана с основным текстом стихотворения и восстановлена самим Пушкиным в 1829 г. Разумеется, внести ее надо в том окончательном варианте, который дается тверским автографом.

Весь остальной текст, имеющийся в черновой и не вошедший в первопечатное издание, надо помещать в примечаниях. Туда же надлежит отнести эпиграф и дапу в конце стихотворения.

<sup>1</sup> «Пермесских дев» с прописной буквы можно оставить, если передавать пушкинское правописание. Если же все стихотворение печатать по новому правописанию, то, конечно, возможно уничтожение прописной буквы в слове «Пермесских», равно как и в слове «Царь».

<sup>2</sup> Впрочем, в академическом издании, при условии возможно точной передачи пушкинского текста, быть может, не лишним будет взять в скобки не написанные Пушкиным буквы, т. е. печатать так: «О Пу(ущи)н мой...» и «Ты Г(орчако)вь...»; в изданиях популярных, конечно, нет оснований для такой точности. Замечу, что фамилию Дельвига и имя Кюхельбекера («Вильгельм») Пушкин написал в автографе полностью.

Таким образом, дефинитивный текст конца стихотворения «19 октября» (1825) будет такой<sup>1</sup>.

16

И первую полней, друзья, полней!  
И всю до дна в честь нашего союза!  
Благослови, ликующая муза,  
125 Благослови: да здравствует Лицей!  
Наставникам, хранившим юность нашу,  
Всем честию, и мертвым, и живым,  
К устам подъяв признательную чашу,  
Не помня зла, за благо воздадим.

17

Полней, полней! и сердцем возгоря,  
130 Оять до дна, до капли выпивайте!  
Но за кого? о, други, угадайте!..  
Ура, наш царь! так! выпьем за царя!  
Он человек! им властвует мгновенье.  
Он раб молвы, сомнений и страстей,  
135 Просим ему неправое гоненье:  
Он взял Париж, он основал Лицей.

18

Пируйте же, пока еще мы туп!  
Увы, наш круг час от часу редеет;  
Кто в гробе спит, кто дальний сиротеет,  
140 Судьба глядит, мы вянем; дни бегут.  
Невидимо склоняясь и хладея,  
Мы близимся к началу своему..  
Кому ж из нас под старость день Лицея  
Торжествовать придется одному?

---

<sup>1</sup> В целях экономии места не перепечатываем всего стихотворения, а лишь 4 его последние строфы. Строфы 1--15 см. в изд. 1829 г., или у Томашевского.

19

Несчастный друг! средь новых поколений  
Докучный гость, и лишний и чужой  
145 Он вспомни нас и дни соединений,  
Закрыв глаза дрожащею рукой.  
Пусть же он с отрадой хоть печальной  
Тогда сей день за чашей проведет,  
Как ныне я, затворник ваш опальной,  
Его провел без горя и забот.



НОВОЕ О ПУШКИНЕ  
СТИХОТВОРЕНИЕ ПУШКИНА «ДЕРЕВНЯ»<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Данная публикация является продолжением серии наших разысканий о Пушкине (неизданных писем, новых автографов, стихотворений и материалов о поэте и современниках), начатых печатанием в журнале «Красный архив», 1928 г., т. 4 (28).

*Н. Б.*





## НЕИЗДАННЫЙ АВТОГРАФ СТИХ. «ДЕРЕВНЯ».

В Остафьевском архиве сохранился неизвестный в пушкиниане автограф всего стихотворения. Он представляет собой лист плотной, несколько потемневшей бумаги с водяными знаками А. О. 18. Текст стихотворения занимает две первые целиком и верх третью страницы, писан старательным и изящно черными чернилами молодым почерком Пушкина с одной лишь поправкой (зачеркнуто ошибочно написанное слово «лазурные» в стихе 13). Текст печатаем с соблюдением орфографии и знаков препинания подлинника.

### ДЕРЕВНЯ.

Привѣтствую тебя, пустыни уголокъ,  
Предѣл спокойствія, прудовъ и размышленья  
Гдѣ льется дней моихъ невидимый потокъ  
На лонѣ щастья и забвенья.  
Я твой — я промѣнялъ порочный дворъ Цирцей  
Безумные пиры, заботы, заблужденья  
На сладкій шумъ дубравъ, на тишину полей  
На праздность вольную, подругу вдохновенья.  
Я твой — люблю сей темный садъ  
Съ его прохладой и цвѣтами,  
Сей лугъ уставленный душистыми скирдами  
Гдѣ свѣтлые ключи въ кустарникахъ журчатъ.  
Вездѣ вокругъ меня [лазурныя] подвижныя картины.  
Здѣсь вижу двухъ озеръ лазурныя равнины  
Гдѣ парусъ рыбарей бѣлѣетъ иногда  
За ними — рядъ холмовъ и нивы полосаты —  
Вдали разсыпанныя хаты  
На злачныхъ берегахъ бродящія стада

Авины, мельницы крылаты  
Вездѣ слѣды довольства и труда.....  
Я здѣсь, отъ суетныхъ оковъ освобожденной,  
Учуся в Истиннѣ блаженство находить  
Желать не многого, Добро боготворить —  
Роптанью не внимать толпы непросвѣщенной  
Участвемъ отвѣчать заспешивой Молѣбѣ  
И не завидовать судѣбѣ  
Злодѣя иль глупца — въ величїи неправомъ.  
Оракулы вѣковъ — я вопрошаю васъ.  
Въ уединенїи величавомъ  
Слышите вашъ отрядный гласъ.  
Онъ будитъ лѣни сонъ угрюмый,  
Къ трудамъ рождаетъ жаръ во мнѣ,  
И ваши творческія думы  
Въ душевной зрѣютъ глубинѣ.  
Но мысль ужасная здѣсь душу омрачаетъ:  
Среди цвѣтущихъ нивъ и горъ  
Мудрецъ печальной замѣчаетъ  
Вездѣ невѣжества убийственной позоръ.  
Не видя слез, не внемля стона  
На пагубу людей избранное Судѣбой  
Здѣсь Барство о дикое безъ чувства, безъ закона  
Присвоило себѣ насильственной лозой  
И трудъ и собственностъ и время земледѣльца  
Съ поникшею главой, покорствуя бичамъ  
Здѣсь Рабство тщее влачится по браздамъ  
Неумолимаго Владѣльца.  
Здѣ горестный яремъ до гроба всѣ влекутъ  
Надеждъ и склонностей въ душѣ питаютъ не смѣя  
Здѣсь дѣвы юныя цвѣтутъ  
Для дерзкой прихоти злодѣя.  
Надежда милая старѣющихъ отцовъ  
Младые сыновья, поварищи трудовъ  
Изъ хижинъ родной идутъ собой умножитъ  
Дворовыя толпы измученныхъ рабовъ.  
О еслибъ голосъ мой умѣлъ сердца тревожитъ?  
Почто въ груди моей горитъ напрасный жаръ  
И не данъ мнѣ судѣбой Випыиства грозный даръ?  
Увижуль, о друзья! народъ неугнетенной  
И Рабство изгнанно по манию Царя,  
И надъ отечествомъ Свободы просвѣщенной  
Взойдетъ ли наконецъ прекрасная Заря?

Заканчивается текст росчерком в виде свободных линий круга, постепенно суживающихся и переходящих в хвост. Слово «Барство» подчеркнуто самим поэтом. В дате, повидимому, забыт день; хотя место для числа было приготовлено. Первоначально было: «тягостный» ярем и исправлено.

2.

НЕИЗВЕСТНЫЕ СПИСКИ СТИХ. «ДЕРЕВНЯ».

Известно, что это стихотворение долгое время распространялось по рукам в списках и копиях. Написанное в 1819 г., в печати стихотворение (первая его часть) появилось в 1826 г. и напечатано по неисправному списку. Вторая половина в отрывках стала известна по публикации в «Библ. зап.» (1858 г., № 11) и заключительное четверостишие из речи М. П. Погодина (12 янв. 1861 г.) в «Моск. ведомостях» (1861 г., № 11); в полном виде вторую половину дало издание сочинений поэта 1870 г.

Появление автографа вносит существенную перемену в вопрос о подлинном тексте стихотворения. Встает естественный вопрос, нужно ли принимать во внимание списки произведения, когда мы располагаем автографом? Теоретически, казалось бы, вопрос ясен: автограф упраздняет значение списков (за исключением авторизованных).

В действительности же дело обстоит всегда сложнее, и в данном случае также. Стихотворение это пережило долгую историю «попаенного» существования. Попав в руки «переписчиков», текст стихотворения легко мог подвергнуться переработке, переделкам, которые представляют интерес для изучения читателя и его общественных взглядов. «Деревня», богатая социальным содержанием, давала возможность автору введения в текст сильных общественных штрихов.

Ведь, несомненно, что стихотворение не могло появиться в печати в силу своего общественного пафоса, в силу «преувеличения насчет псковского хамства», что

бросилось тогда же в глаза помещику Вяземскому. Редакция автографа кончается очень умеренной общественной pointe, умеренной и для той эпохи: «и рабство изгнано по манию царя». Ибо такая редакция, по мнению В. Я. Брюсова, совпадала с видами правительствва: «правительство спрaшилосъ восстанiя снизу и готово было допустить мечты о падении рабства «по манию царя» в неопределенном будущем»<sup>1</sup>.

Много «бичующих» стихов в первой половине, которая, однако, увидела свет в 1826 г. после восстания декабристов. Почему же вторая половина стихотворения была в числе погашенной литературы?

Просматривая списки, в одном из них (том, который сохранился в Остафьевском архиве П. А. Вяземского), мы находим вариант в 59 стихе (третьем с конца), именно:

Печатная редакция.

Список.

«И рабство падшее по  
манию царя».

«И рабство падшее и падшего  
царя».

Подле слова «царя» в списке поставлена звездочка чернилами рукой самого П. А. Вяземского и внизу под текстом его рукой на поле написано принятое в печатной редакции чтение: «по манию царя».

Вариант списка («падшего царя») привлекает внимание. Существование списка в архиве Вяземского заставляет придавать ему значение.

Перед текстологом встает вопрос, насколько можно придавать значение этому варианту «падшего царя»? Можно ли думать, что этот вариант принадлежит Пушкину? Прямых данных для этого утверждения нет, но есть косвенные; их надо учесть, взвесить и оценить. Заранее скажем, что все эти косвенные доводы ни в какой мере не доказывают принадлежности варианта Пушкину, — они в лучшем случае позволяют утверждать, что этому списку и варианту текстолог должен придавать значение

<sup>1</sup> Пушкин, собр. соч., т. I, ч. I, изд. М. 1920, стр. 121.

при наличии автографа. Начнем с предания. Александр I чипал «Деревню», оспался доволен и благодарил Пушкина. Без сомнения, «Деревня» не могла бы понравиться царю, если бы он прочел в стихотворении столь откровенное пожелание себе. Очевидно, такого пожелания в редакции «Деревни», данной Александру, не было. Однако стихотворение не появилось в печати и, возможно, потому, что в редакции, понравившейся царю, оно не удовлетворяло молодого поэта. Поэтому можно допустить, что в «Деревне» было что-то такое, что спавило ее в ряд «подпольных», «рукописных» стихов. При таком предположении, наш автограф является умеренной редакцией. Но все же при таком допущении мы ничего конкретного не знаем.

Ближе к конкретному выводу приводит факт нахождения списка у П. А. Вяземского. Список, судя по бумаге, довольно старый, но не имеет водяного знака. П. А. Вяземский был близким другом Пушкина и вращался в среде близких к Пушкину людей. Естественно думать, что список этот отражал какую-то редакцию стихотворения, связанную с известным моментом пушкинского общественного настроения, о чем Вяземский знал. Иначе Вяземский, осуждавший «Деревню», предал бы порицанию «ложный» текст; «апокриф» вызвал бы в Вяземском, надо думать, решительное осуждение. Но этого нет. Вяземский бережно поправил текст не только в этом стихе, но и в некоторых других местах списка (см. в стихе 16 и др.) и вписал целый (42) стих. Поэтому в данный момент, пока мы не располагаем никакими еще более вескими данными, можно утверждать одно, что вариант этого списка следует признать важным для текстуальной истории стихотворения. Мы не говорим уже о том, насколько бы изменилось общественное значение всего стихотворения, если бы удалось установить безусловную авторитетность варианта и ввести его как обязательный для собрания сочинений. Не всякий вариант обязателен. Найденный вариант вполне вяжется с идейным характером

оды и политическим свободомыслием Пушкина, присущим ему, когда он написал «Деревню». Говоря об обязательности варианта «падшего царя», мы понимаем «обязательность» в том смысле, что присваивается показаниям автографа или авторизованной копии. Здесь этого пока признать нельзя, но нельзя также совершенно отказаться от варианта, если даже расценивать его показательным для истории общественных настроений читателя «Деревни», а не автора.

### 3.

#### НОВЫЕ ВАРИАНТЫ К ТЕКСТУ СТИХ. «ДЕРЕВНЯ».

Воспроизводим текст списков «Деревни». Списки обозначаем так. Список из архива Голохвастовых обозначаем литерой Г. Список, в котором сохранился вариант, о котором выше говорим, обозначаем литерой В. Этот список имел в руках Л. Н. Майков. В изданных «Материалах для академического издания сочинений А. С. Пушкина» (СПб, 1902 г.) Майков глухо упоминает, что «стихотворение сохранилось только в копии неизвестного почерка с собственноручными поправками князя П. А. Вяземского в Остафьевском архиве у гр. С. Д. Шереметева» (стр. 40.) Но ни поправок Вяземского (вернее, вставок его рукой), ни варианта Майков не привел.

В архиве П. А. Вяземского есть еще список «Деревни», написанный на больших листах и переплетенных когда-то в тетрадь, а теперь существующих отдельно, вместе с текстами стихотворения «Послания к Щербинину», «Прощанье» и др. Вяземский без сомнения видел эти списки, поставил около заголовков всех стихотворений кресты чернилами и сверху первой страницы, где начало «Деревни», сделал «жесткую» надпись: «все эти стихи Пушкина напечатаны. Можно уничтожить рукопись». Но списки уцелели. Список «Деревни» в этой серии обозначим литерой О (Остафьевского архива).

Затем список «Деревни» есть в альбоме (сборник № 8 — № 384) недорогого вида также в архиве Вяземского

Здесь «Деревня» переписана вместе с стихотворениями «Послание к Орлову», «Песня», «Послание к Горчакову» и др. Этот список обозначим литерой А (альбомный).

Наконец в архиве С. А. Соболевского списком представлена вторая половина стихотворения, имеющая в списке название «Уединение»; этот список обозначим литерой С, варианты его идут с 35 стиха.

1. Г. Приветствую тебя, пустынный уголок,  
А. В. О. Приветствую тебя, пустыни уголок
2. В. Предел спокойствия, трудов и вдохновенья  
Г. Предел спокойствия, трудов и размышленья  
А. О. Предел спокойствия, трудов, отдохновенья,
3. А. В. Г. Где льется дней моих невидимый поток  
О. Где льется дней моих невидимой поток
4. А. В. Г. О. На лоне щастья и забвенья!
5. А. В. Г. О. Я твой, я променял порочный двор Цирцей
6. В. Веселые пиры, заботы, заблужденья  
А. Г. О. Нескромные пиры, заботы, заблужденья
7. А. В. Г. О. На сладкий шум дубрав, на тишину полей
8. А. В. Г. О. На праздность вольную, подругу размышленья
9. А. В. Г. О. Я твой люблю сей темный сад
10. А. В. Г. О. С его прохладой и цветами
11. Г. В. Сей луг, уставленный душистыми скирдами  
А. О. Сей луг, уставленный душистыми стогами
12. В. Где чистый ручеек в кустарниках журчит  
Г. Где чистые ручьи в кустарниках журчат  
А. О. Где чисты ручейки в кустарниках журчат
13. А. В. Г. О. Везде передо мной подвижные картины
14. А. В. Г. О. Здесь вижу двух озер лазурные равнины,
15. А. В. Г. О. Где парус рыбарей белеет иногда,
16. А. В. Г. О. За ними ряд холмов и нивы<sup>1</sup> полосатые
17. А. В. Г. О. не имеют стиха (Вдали рассыпанные хатки)
18. В. Г. О. На влажных берегах бродящие стада  
А. На значных берегах бродящие стада
19. А. Г. О. Авинны дымные и мельницы крылатые  
В. Овинны дымные и мельницы крылатые;
20. Г. О. Везде следы довольства и трудов  
А. В. Везде следы довольства и труда
21. А. В. Г. О. Я здесь от суетных забот освобожденной  
(В. и О. освобожденный)

---

<sup>1</sup> Слово «нивы» вставлено рукой Вяземского в списке В.

22. В. Учуся в Истине блаженство находить  
 А. Г. Учуся в Истинне блаженство находить  
 О. Учуся в пишине блаженство находить,  
 23. А. В. Г. О. Свободноу душой закон боготворить  
 24. А. В. Г. О. Роптанью не внимать полпы непросвещенной  
 25. В. Усердьем отвечать заспенчивой молббе.  
 Г. Учаством отвечать заспенчивой молббе  
 А. О. Участью отвечать заспенчивой молббе  
 26. А. В. Г. О. И не завидовать судьбе  
 27. А. В. Г. О. Злодея иль глупца в величии неправом.  
 28. А. В. Г. О. Оракулы веков! здесь вопрошаю вас!  
 29. А. В. Г. О. В уединеньи величаюм  
 30. Г. Слышнее ваш отпрудный глас  
 А. В. О. Слышнее вам <sup>1</sup> отпрудный глас  
 31. Г. Он будит лени сон угрюмый  
 А. В. О. Он гонит лени сон угрюмой (В — угрюмый.)  
 32. А. В. Г. О. К прудам рождает жар во мне  
 33. А. В. Г. О. И ваши творческие думы  
 34. А. В. Г. О. В душевной зреюп глубине  
 35. А. В. Г. О. С. Но мысль ужасная здесь душу омрачает:  
 36. А. Г. О. С. Среди цветущих нив и гор,  
 В. Куда окрест ни кинет взор  
 37. А. В. Г. О. С. Друг человечества печально замечает  
 38. А. Г. О. Везде невежества убийственной позор  
 В. С. Везде невежества губительной позор  
 39. В. Не зная слез, не внемля спона  
 А. Г. О. С. Не видя слез, не внемля спона  
 40. А. В. Г. На пагубу людей избранное Судьбой  
 С. На пагубу людей рожденное судьбой  
 О. На пагубу людей избранных судьбой  
 41. А. В. Г. С. Здесь барство дикое без чувства, без закона  
 О. Здесь Барство дикое, без чувства, без закона  
 42. В. Г. Себе присвоило насильственной лозой <sup>2</sup>  
 А. О. С. Присвоило себе насильственной лозой  
 43. А. В. Г. О. С. И труд и собственность и время земледельца  
 44. В. Г. О. С поникшею главой, покорствуя бичам <sup>3</sup>  
 А. О. С поникшею главой, покорствуя богам  
 С. н е п.  
 45. А. В. Г. О. С. Здесь рабство пощее влачится по браздам  
 46. А. В. Г. О. С. Неумолимого владельца.

<sup>1</sup> В списке В первоначально «ваш», потом переправлено на «вам».

<sup>2</sup> В списке В этот стих вписан рукой П. А. Вяземского.

<sup>3</sup> В списке В первоначально: «богам», затем переправлено — «бичам».



47. А. Г. О. С.      Здесь тягостный ярем до гроба все влекут  
      В.                Здесь тягостный ярем до гроба все несут
48. А. В. Г. О.    Надежда<sup>1</sup> и склонностей в душе питаешь не смея  
      С.                Надежда и склонностей питаешь не смея,
49. А. В. Г. О. С.      Здесь девы юные цветут
50. А. В. Г. О. С.    Для прихоти бесчувственной злодея.
51. В.                Надежда милая стареющих опцов
- А. Г. О. С.      Опора милая стареющих опцов
52. А. В. Г. О. С.    Младые сыновья, поварищи трудов
53. А. В. Г. О.      Из хижин родной идут собою умножить  
      С.                Из хижин родной идут собою множить
54. А. В. Г. О. С.    Дворовые толпы измученных рабов.
55. А. Г. С.        О, еслиб голос мой умел сердца тревожить.  
      В. О.            О, еслиб голос мой умел сердца тревожить
56. А. В. Г. О.      Почто в груди моей горит бесплодный жар  
      С.                Зачем в душе моей один бесплодный жар.
57. А. В. Г. О. С.    И не дан мне судьбой вишнейства грозный дар?
58. В. О. С.        Увижуль, о друзья, народ неугнетенный  
      Г.                Увижуль, о друзья неугнетенный  
      А.                Этого стиха не имеет.
59. В.                И рабство падшее<sup>2</sup> и падшего царя<sup>3</sup>
- А. Г. О. С.      И рабство падшее по манию царя,
60. А. В. Г. О. С.    И над отечеством свободы просвещенной
61. А. В. Г. О. С.    Взойдет ли наконец прекрасная Заря?  
      Даты в списках (А. В. Г. О. С.) нет.

---

<sup>1</sup> В окончании этого слова П. А. Вяземский сделал поправку и вставил «и».

<sup>2</sup> В списке В стоит перед этим стихом строка точек. Вместо «рабство падшее» первоначально «работы падшие», что Вяземский поправил на «рабство падшее».

<sup>3</sup> П. А. Вяземский в списке В сделал сноску и внес вариант: «по манию царя».



О СТИХОТВОРЕНИИ  
«С ГОМЕРОМ ДОЛГО ТЫ БЕСЕДОВАЛ ОДИН»

(По вопросу статьи Н. Ф. Бельчикова: «Пушкин и Гнедич  
в 1832 году».)



Третья строфа названного в заглавии нашей заметки пушкинского стихотворения в обычно печатаемом тексте читается так:

Смутились мы, твоих чуждаяся лучей.  
В порыве гнева и печали  
Ты проклял нас, бессмысленных детей,  
Разбив листы своей скрижали.

Посвятивший этому стихотворению превосходную специальную статью и напечатавший факсимиле его автограф Н. Ф. Белычиков совершенно справедливо замечает, что этот автограф вполне подтверждает догадку Ф. Е. Корша, что последний стих III строфы нужно читать не так, как он был раньше напечатан, а так:

Разбил ли ты свои скрижали.

Это совершенно правильно. Но почему-то наш автор не обратил внимания на то, что этот автограф также неопровержимо доказывает, что и третий стих приведенной нами строфы печатается неверно. Я не буду воспроизводить всех последовательных изменений, какие претерпели эти последние два стиха III строфы, хотя, может быть, это и следовало бы сделать. Я прямо укажу на то, что после слова «проклял» в автографе, воспроизведенном на стр. 187, несомненно идет пире и дальше начертание букв, которое, конечно, в связи с новым чтением последнего стиха легко принять за «ли». Следующее слово, конечно, ни в коем случае нельзя прочесть «нас», так как вторая буква его ясно «р», третий «о» и первая, следовательно «п», а не «н», так что все слово читается «про»,

и, конечно, оно не дописано: должно быть, «пророк». Откуда могло явиться в этом стихе слово «пророк»? Несомненно оно явилось из следующего, 4-го стиха, где оно было зачеркнуто после того как весь этот стих был исправлен на «Разбил ли ты свои скрижали».

Таким образом получается стройное чтение III строфы:

Смутились мы, твоих чуждаяся лучей.  
В порыве гнева и печали  
Ты проклял ли, пророк, бессмысленных детей  
Разбил ли ты свои скрижали.

И начало первого стиха следующей, IV строфы: «Нет, ты не проклял нас!» — ясно является ответом на вопросы, заключающиеся в двух последних стихах III строфы.

Так благополучно обстоит дело по содержанию при предлагаемом мною чтении третьего стиха, которому, как мы видели, не противоречит, даже более, с которым согласно ясное чтение четвертого стиха, принятого автором и опгаданного Ф. Е. Коршем. Но так же благополучно обстоит дело при моем чтении и в метрическом отношении. При нем не только вся строфа, но и все 6 строф ясно и точно укладываются в такой размер:

— — — — — — — — — —  
— — — — — — — — — —  
— — — — — — — — — —  
— — — — — — — — — —

Если же оставить прежнее чтение третьего стиха третьей строфы, то этот размер будет нарушен, так как при прежнем чтении этот стих укладывается в пять стоп, а не в шесть, т. е.

— — — — — — — — — —

Ясно, что это обстоятельство говорит только в пользу предлагаемого мною чтения.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
МОСКВА — ЛЕНИНГРАД

# ПУШКИН

Сборник первый

Ред. Н. К. Пиксанова

(Общество Любителей Российской Словесности. Пушкинская комиссия)  
Стр. 344 + 31. 1924. Ц. 2 р. 50 к.

## СОДЕРЖАНИЕ

От редактора

- Н. К. Пиксанов. Пушкин и Общество Любителей Российской Словесности.  
П. Н. Сакулин. Памятник нерукотворный. (Полемика с М. Гершензоном.)  
М. О. Гершензон. Сны Пушкина.  
В. Я. Брюсов. Пушкин — мастер.  
Л. П. Гроссман. Онегинская строфа.  
М. А. Цявловский. Тексты „Гаврилиады“.  
Н. Ф. Бельчиков. Пушкин и Гнедич в 1832 г.  
В. В. Баранов. Новый текст „Мадонны“.  
Хроника. Указатель имен. Corrigenda.  
Приложение. Описание пушкинских автографов Всероссийской Публичной Библиотеки имени В. И. Ленина (б. Румянцевского Музея). Составил Н. Н. Фатов.

\*

# ПУШКИН В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Сборник статей

(Научно-Исследовательский Институт Сравнительного Изучения Литератур и Языков Запада и Востока при Ленинградском Государственном Университете).

Стр. 408. 1926. Ц. 4 руб.

Сборник „Пушкин в мировой литературе“ выгодно выделяется своей тематической целостностью, единством трактуемых проблем, каждая из которых возникает в результате дифференциации одной, собственно говоря, общей проблемы — проблемы Пушкина в его историко-литературной функции... (И. Сергиевский. Печ. и Rev. 1926. кн. VIII).

ПРОДАЖА ВО ВСЕХ МАГАЗИНАХ И КИОСКАХ ГОСИЗДАТА

## ДНЕВНИК ПУШКИНА

(1833—1835)

Под ред. и с объяснител. примеч: Б. Л. Модзалевского и со статьей  
П. Е. Щеголева

Стр. XXVI + 275.

1923.

Ц. 1 р. 25 к.

Мы стремились не оставить неразъясненным ни одного места „Дневника“, — не обойти молчанием ни одного имени, ни одного события, о котором упоминает Пушкин, — было ли то событие современной ему общественной или частной жизни, факт его личной судьбы, исторический анекдот или рассказ из прошлого, упоминание о том или ином лице или отзыв о нем и т. п., чтобы все действующие в „Дневнике“ лица, а вместе с ним и сам его автор предстали перед читателем во весь свой рост и во всем многообразии жизненных и житейских отношений.

(Б. Л. Модзалевский.)

\*

ПУШКИН

## П И С Ь М А

Под редакцией и с примечаниями Б. Л. Модзалевского  
(Труды Пушкинского дома при Академии наук СССР.)

Том I. 1815 — 1825. 1926. Стр. XVIII + 537. Ц. 7 руб.

Том II. 1826 — 1830. 1928. Стр. 579. Ц. 7 р. 50 к.

Том III. (Печ.)

...Давно пора было дать письма Пушкина с подробными, исчерпывающими комментариями академического типа. Задача эта безукоризненно выполнена в настоящем издании Б. Л. Модзалевским, одним из лучших нынешних пушкинистов. Самая богатая западно-европейская литература в праве пожелать такого издания писем самого выдающегося своего классика...

(В. Версаев „Правда“, 31/XII 1926 г.)

\*

## РАЗГОВОРЫ ПУШКИНА

Составили С. Гессен и Л. Модзалевский

„Федерация“ 1929. XVII + 312. Ц. 2 р. 25 к., в пер. 2 р. 50 к.

Идея настоящей книги принадлежит покойному Б. Л. Модзалевскому. Б. Л. согласился принять на себя не только редактирование этой книги, но и общее направляющее руководство нашей работой. Б. Л. заметил по поводу нашей работы, уже близившейся к концу: „По моему личному убеждению и по впечатлению от просмотра части работы, книга будет интересная для широкой публики и полезная для специалистов... Работа большая и трудная; она будет проделана по такому исключительному, полному и хорошо подобранному материалу, какой сосредоточен в Пушкинском доме“.

...В меру возможного (книга) воскрешает слово Пушкин и, через столетний туман былого доносится к нам, пусть слабая, пусть часто искаженная, речь поэта, „солнца русской поэзии“, того Пушкина, с последним словом которого вся Россия облачилась в глубокий траур...

Сергей ГЕССЕН. Из предисловия и статьи „Разговоры Пушкина“.



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
МОСКВА—ЛЕНИНГРАД

ВАЛЕРИЙ БРЮСОВ  
М О Й П У Ш К И Н

Статьи, исследования, наблюдения

Редакция Н. К. Пиксанова

Стр. 319.

1929

Ц. 3 руб.

С о д е р ж а н и е: Мой Пушкин. Из жизни Пушкина. Первая любовь Пушкина. Пушкин в Крыму. Гавриилада. Домик в Коломне. Медный всадник. Неоконченные повести из русской жизни. Египетские ночи. Отзыв о книге П. Е. Шеголева. Стихотворная техника Пушкина. Маленькие драмы Пушкина. Пушкин перед судом ученого историка. Новоткрываемый Пушкин. Политические взгляды Пушкина. Разносторонность Пушкина. Записка о правописании в издании сочинений А. С. Пушкина. Почему должны изучать Пушкина. Пушкин и крепостное право. Звукочислитель Пушкина. Левизна Пушкина в рифмах. Пушкин — мастер. Пророк. Анализ стихотворения. Приложения. Пушкин и царизм (черновой отрывок статьи В. Я. Брюсова). Пушкиниан в архиве В. Я. Брюсова. Заметка Н. С. Ашукина. Пушкинские работы В. Я. Брюсова. Библиографический указатель. (Составил Н. К. Пиксанов). Алфавитный указатель.

\*

Б. Л. МОДЗАЛЕВСКИЙ  
П У Ш К И Н

Труды Пушкинского дома при Академии наук СССР

„ПРИБОЙ“. Стр. 440.

Ц. 4 руб.

С о д е р ж а н и е: Вступительная статья. Род Пушкина. К истории ссылки Пушкина в Михайловское. Пушкин и Лажечников. Пушкин, Дельвиг и их петербургские друзья в письмах. С. М. Дельвиг. Работы П. В. Анненкова о Пушкине. Послание к вельможе. Пушкин и Стерн. Затерявшийся автограф Пушкина. А. С. Пушкин, портрет работы В. А. Тропинина. Пушкин и В. Д. Корнильев. Указатель личных имен.

\*

Н. О. ЛЕРНЕР  
РАССКАЗЫ О ПУШКИНЕ

Стр. 223.

1929.

Ц. 1 р. 50 к., в пер. 1 р. 70 к.

С о д е р ж а н и е: Сестра Пушкина. Ранняя любовь Пушкина. Забытые плоды лицейской музыки. „Милая Бакунина“. „Ольга, крестница Киприды“. Стихи о Марино Фольери. У возможных истоков „Евгения Онегина“. „Пророк России“. Распутанное недоразумение. Пушкин и Грибоедов. Затерянный рассказ Пушкина. История „Пиковой дамы“. Историк Пугачевщины и Казанские с, кончики. „Великий меланхолик“. Пушкин и футуризм. Замаскированный Пушкин. Пушкин и „дарские собаки“. Заметки на полях.

ПРОДАЖА ВО ВСЕХ МАГАЗИНАХ И КИОСКАХ ГОСИЗДАТА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
МОСКВА — ЛЕНИНГРАД

КНИГИ О А. С. ПУШКИНЕ

П. Е. ЩЕГОЛЕВ

ПУШКИН И МУЖИКИ

По неизданным материалам  
С автопортретом и автографами Пушкина и иллюстр.  
„Федерация“. 1929. Стр. 288. Ц. 3 р. 10 к., в пер. 3 р. 35 к

✱

П. Е. ЩЕГОЛЕВ

ПУШКИН

Исследования, статьи, материалы

ТОМ ПЕРВЫЙ

ДУЭЛЬ И СМЕРТЬ ПУШКИНА

ИССЛЕДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ

Изд. 3-е, просмотр. и дополн.  
1928. Стр. 550 + 5 вкл. лист. портретов и факсимиле. Ц. 6 р. 50 к.

...Подводя итоги, мы должны сказать, что работа П. Е. Щеголева, по обилию новых материалов, длинному ряду поправок, внесенных автором в работы его предшественников и основанных на добросовестном изучении первоисточников и подлинных рукописей Пушкина, — наконец, по строго-научному методу, который автор выставил как необходимое условие плодотворной работы и которого сам последовательно держался... — вполне заслуживает присуждения Пушкинской премии.

(Из отзыва В. Я. Брюсова 1913 г. См. „Мой Пушкин“, 128.)

✱

Д. БЛАГОЙ

СОЦИОЛОГИЯ ТВОРЧЕСТВА  
ПУШКИНА

Э т ю д ы

„Федерация“. 1929. Стр. 365. Ц. 3 р. 50 к., в пер. 3 р. 70 к.

ПРОДАЖА ВО ВСЕХ МАГАЗИНАХ И КИОСКАХ ГОСИЗДАТА